

В. А. КРИВОШЕИН

ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД

ВОСПОМИНАНИЯ

Брюссель

1975

В.А. КРИВОШЕИН
ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ ГОД
ВОСПОМИНАНИЯ

БРЮССЕЛЬ

1975

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Писать о событиях полувековой давности дело нелегкое. Как ни ярко запечатлелись в сознании действительно потрясающие события и переживания грозной эпохи гражданской войны, все, что я лично видел и слышал, время все же многое вырвало из памяти, особенно имена и даты. Да и сами переживания, чувства тех времен, невольно окрашиваются тем, что пришлось испытать впоследствии в течение долгой жизни. Все это я хорошо понимаю и, тем не менее, пишу эти "Воспоминания", как ни далеко и, казалось бы, даже чуждо описываемое в них прошлое всей моей настоящей жизни с ее духовными и интеллектуальными интересами. Пишу потому, что не могу не писать. Хочется высказаться, ведь прошлое всеж таки живо, да и мне пришлось многое пережить, есть о чем рассказать. Не в смысле, конечно, большой истории—я был слишком молод и слишком незначительно было мое тогдашнее положение, чтобы я мог быть деятелем больших исторических событий. Но то, что я лично видел и слышал и что испытал, это я постараюсь рассказать, не говорю объективно, но правдиво и до конца искренне, ничего не замалчивая, даже если это не всем понравится. В кульминационном моменте гражданской войны в России осенью 1919 года, по обеим сторонам фронта. Рассказать, как Бог неоднократно спасал меня от, казалось бы, неминуемой смерти.

Единственное, что я счел возможным добавить к этим "Воспоминаниям"—это ряд примечаний, преимущественно исторического характера. Они уясняют обстановку описываемых мною событий и делают более понятным мой рассказ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

К БЕЛЫМ!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В ПОИСКАХ ВЫХОДА

Решение поступить в Белую Армию и сражаться против большевиков созрело во мне к зиме 1918-1919 года. Все в советском строе стало мне к тому времени неприемлемым и отвратным, и я вместе с тем осознал, что для меня в нем нет места. Нет жизни в буквальном смысле этого слова. И хотя я далеко не был уверен в конечном успехе Белой борьбы, принять участие в ней стало для меня жизненной потребностью. Я не в силах был сидеть сложа руки. Однако, осуществить мое желание было не так легко, не так просто. Я пропустил благоприятный момент, когда пробраться к белым через гетманскую Украину, при всеобщей дезорганизованности и слабости советской власти, было сравнительно не трудно. Люди целыми семьями бежали тогда из Москвы в оккупированные немцами области Юга России, а оттуда, кто хотел, попадали к белым. Сейчас положение резко изменилось. Советская власть окрепла, всюду на железных дорогах контролировали пассажиров, установлена была прифронтная полоса, в которую никто не мог въехать без особого разрешения ВечеКа. Так что без советских документов не возможно было даже приблизиться к линии фронта, не говоря уже о трудности его перейти. Я жил тогда в Москве, был студентом историко-филологического факультета Московского Университета, летом 1918 года мне исполнилось восемнадцать лет. Моему отцу удалось еще в июле этого года бежать из под ареста и уехать на Юг, где он сейчас находится в районе белых. Никакой связи ни с ним не могли иметь. Мои два старших брата офицера, Василий и Олег, тоже с лета 1918 года находились в Добровольческой Армии¹. Моему третьему

1. Мой старший брат Василий скончался на Кубани от тифа в рядах Добровольческой Армии в феврале 1920 года, а второй брат Олег был убит приблизительно в то же время там же.

брату Игорю удалось по знакомству устроиться на постройку железной дороги в северной России, что освобождало его от призыва в красную армию. Моя мать и младший брат Кирилл под чужим именем уехали весной 1919 года в занятый большевиками Киев, где и оставались до прихода туда белых. Я тоже поехал в это время в Киев с целью пробраться оттуда к белым, но убедившись, что это крайне трудно, а жить мне в Киеве опасно, должен был вернуться в мае в Москву. До этого я жил в Москве у моих родственников, нигде не служил, а только учился в университете. У меня не было никаких связей с антисоветскими организациями, которые, как я думал, могли бы мне помочь в деле перехода к белым и снабдить нужными для этого документами. А без документов, как я к тому времени мог вполне убедиться, нечего было и думать что-либо предпринимать. А для получения документов не было иного способа, как поступить на советскую службу. Такая возможность мне представилась в конце мая того же года, когда по знакомству я был принят старшим рабочим на постройку железной дороги, где уже работал мой старший брат.

Подробное описание этого периода не входит в мою задачу. Скажу кратко, что железная дорога Овинище-Суда начала строиться в 1916 году, постройка была прервана после революции и возобновилась при большевиках осенью 1918 года. Ей придавали большое стратегическое значение, так как она обеспечивала железнодорожную связь Петрограда с Москвой помимо Николаевской железной дороги. Собственно говоря, строился только небольшой участок в 90 верст с деревянным (за недостатком металлов) мостом через реку Мологу у города Весьегонска на границе Тверской и Новгородской губернии. Туда я и поехал. До революции дорогу строил известный инженер-предприниматель Чаев, а в 1918 году во главе работ был поставлен большевиками инженер Будасси, ближайший сотрудник Чаева, уехавшего к тому времени к белым. И вообще среди служащих и рабочих на дороге было много лиц, работавших раньше у Чаева. Благодаря Будасси мне не только удалось поступить на службу на постройку, но и получить нужные мне документы. Почему он мне помогал? Думаю, главным образом по оппортунизму. Будасси работал на большевиков, был с ними тесно связан, а время летом 1919 года было неопределенное, гражданская война была в разгаре, было неизвестно, кто победит, белые или крас-

ние. Будасси хотелось иметь заручку среди белых на случай, если бы они победили. Но и личное знакомство моего отца с Чаевым тоже, может быть, сыграло свою роль. Как бы то ни было, я жил и работал этим летом в Весьегонске, ожидая благоприятного случая. А в это время наступление армии генерала Деникина на Южном фронте бурно развивалось. Был взят Харьков, белые подходили к Курску, Сумам, Киеву. Мое нетерпение попасть в Белую Армию только усиливалось от этих успехов. Если раньше я иногда опасался, что белые потерпят поражение, прежде чем я попаду к ним, то теперь я скорее "опасался", что они победят без меня! Впрочем, серьезность и тяжесть борьбы с красными никогда не выпадали из моего сознания. Благоприятный случай скоро представился. В середине августа железная дорога командировала старшего рабочего И. (я забыл его фамилию, но она как будто с этой буквы начиналась), старого "чаевского" служащего, в Курскую губернию, в село Селино Дмитриевского уезда, нанять плотников специалистов для постройки деревянного железнодорожного моста через реку Мологу у города Весьегонска. В этой командировке не было ничего фиктивного. Мост через Мологу действительно строился, действительно не хватало плотников специалистов, а найти их поблизости было невозможно, а в Курской губернии они были. Сам И. был родом из Селина, куда его теперь командировали, он оттуда недавно приехал и знал, что там он их найдет и сможет нанять. Все это было в полном порядке, но фиктивность начиналась с того, что и И. присоединили меня в качестве помощника и спутника. Правда и впрямую в такого рода командировки посылали обыкновенно двоих, но в данном случае И. во мне не нуждался и я был ему совершенно бесполезен по своей неопытности и полному незнанию дела. А мне такая командировка была в высшей степени на руку. Фронт проходил тогда в Курской губернии, на Кореневском и Дмитриевском направлениях, немного к югу от местности, куда меня послали. Командировка давала мне возможность проникнуть в прифронтовую полосу и попытаться перейти фронт. Вот почему я был чрезвычайно рад и счастлив, когда приблизительно к 15/28 августа я получил на руки "Удостоверение" от железной дороги приблизительно такого содержания: Предъявитель сего старший рабочий Всеволод Александрович Кривошеев (так была переделана моя фамилия) посылается в командировку в село Се-

лино Дмитриевского уезда Курской губернии для найма плотников специалистов для постройки деревянного железнодорожного моста через реку Мологу у города Весьегонска. Железная дорога эта имеет большое военно-стратегическое значение и потому просим все власти оказывать старшему рабочему Кривошееву всевозможное содействие для выполнения им возложенной на него задачи. Как служащий железной дороги, имеющей стратегическое значение, Кривошеев освобожден от призыва в Красную Армию. Печать и подпись Будасси. Совершенно такой же командировочный документ получил и мой компаньон И.²

Для успешности моего предприятия нужно было, однако, посвятить в него, хотя бы отчасти, моего спутника. Мне рекомендовали его, как надежного человека, которому можно вполне доверять, который не предаст. Тем не менее, посоветовавшись между собой, мы решили не говорить И., что целью моей поездки было поступление в Белую Армию, это могло его напугать, а сказать, что Будасси посылает меня к своему бывшему "хозяину" Чаеву с отчетом о постройке железной дороги. И. был старым "чаевским" служащим, лично ему преданным, как своего рода "барину", Чаев вывел его в люди, и такого рода поездке он охотно был готов содействовать. Кроме того он тоже, вероятно, думал, что Чаев еще может вернуться. Поэтому "услужить" ему всегда полезно. Как бы то ни было, И. оказался верным спутником, готовым всегда помочь. К сожалению, много помочь он не мог. Для меня он был ценен прежде всего, как человек, у которого были родственники и друзья в местности, куда я ехал³.

2. В двадцатые годы большевики сами разобрали уже законченный железнодорожный участок Овинищи-Суда и отправили рельсы и другой материал для постройки Турксиба. Во главе строительства был поставлен тот же Будасси. По этому поводу острили, что он возглавляет передвижную железнодорожно-строительную труппу.

3. Будасси впоследствии печально прославился при постройке Беломорско-Валтийского канала. Сам арестованный, как "вредитель" и сосланный на постройку канала, он сумел выслужиться у большевиков, строя канал и перевыполняя нормы на костях подчиненных ему созаключенных. В изданной в Москве в 1934 году книге, посвященной постройке канала, имеется портрет Будасси с приблизительно такой надписью: Был жуликом, рвачем, спекулянтom итд., но социалистический труд его исправил, он раскаялся и переродился, стал "героем труда". Все же я сохраняю ему благодарность, он помог мне выбраться из "Совдепии".

Итак, к вечеру 17/30 августа, получив на руки все нужные документы, распростившись с братом ⁴, в макинтоше на плечах, с кожаным чемоданом в руках и с фуражкой железнодорожника на голове, я был готов к отъезду на Юг к белым. Моя давняя страстная мечта сбывалась, но самое трудное и страшное было еще впереди.

Мне только что исполнилось тогда девятнадцать лет.

4. Через месяц после моего отъезда и моему брату Игорю удалось выехать из Везьегонска и без особых приключений добраться до Добровольческой Армии.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ЮГ!

Dahin! Dahin!
Где зреет желтый апельсин
Народия на Гете

Так как летом и осенью из за мелководья паромов по Мологе не ходят, то в Москву нужно было ехать кружным путем через Вологду. Мы собрались поздно вечером с моим спутником П. и в три часа ночи сели на дрезину и поехали по еще не вполне законченному участку строящейся железной дороги Весьегонск-Суда. Через некоторое время мы пересели на паровоз, который на рассвете 18/31 августа довез нас до станции железной дороги Петроград-Вологда, Суда. Кроме нас двоих и машиниста с нами ехал еще один человек, по виду рабочий. Машинист, хулиганистый и развязанный бодливый парень, рассказывал, как ему приходится часто возить важных большевиков. Упомянув о них, он ругался на матери. "Вот еще на днях мне пришлось возить какого то важного... (неприличное слово)". Что это было-своего рода политическая оппозиция или просто хулиганство, трудно сказать, вероятно и то и другое. К девяти часам утра пришел с многочасовым опозданием поезд из Петрограда, который к полудню довез нас до Вологды. Благодаря нашим командировкам нам удалось попасть в вагон первого класса. Он был переполнен. Пришлось расположиться с вещами в коридоре и стоять всю дорогу. Среди ехавших многочисленных военных красной армии внимание мое привлек молодой офицер аристократической наружности, шегольски одетый в красноармейскую форму в фуражке с красной звездой. Лице его было грустное и он, сидя в коридоре на своих шикарных чемоданах, в глубокой задумчивости смотрел перед собой. Он мне напомнил одного петроградского знакомого, так что я готов был поздороваться с ним, но я был неуверен и колебался это сделать. Да и это было рискованно, ведь я не знал, что он делает в красной армии, может быть он на самом деле перешел к большевикам. И он со своей стороны упорно не обращал на меня внимания и неподвижно смотрел перед собой, хотя я стоял рядом с ним. Впоследствии в Париже я встретился с его от-

цом (если красный офицер был действительно мой петроградский знакомый) и рассказал ему об этом случае. "Отец" сказал мне, что его сын действительно был призван в Петрограде в красную армию и в приблизительно те же дни, о которых я говорю, уехал на фронт. С тех пор прошло много лет, и от сына нет никаких известий. Моя встреча с ним - если это действительно был он, последнее, что он о нем знает.

В Вологде нужно пересаживаться на московский поезд, но билеты продают только по разрешениям. Пришлось обращаться к какому-то "чекистскому" учреждению тут же на вокзале в отдельном здании. Это был Отдел по выдаче пропусков при штабе местной советской армии, действовавшей на Архангельском фронте. Тип в военном (их было двое) просмотрел мои бумаги и с угрюмым видом выдал мне пропуск до Москвы. Впоследствии эта бумажка мне помогла. До отхода поезда оставалось несколько часов. Я вышел походить по городу. Смутно помню старинные церкви. На большой площади базар. Бегали мальчишки, предлагали по пять (!) спичек и кричали: "А вот спички, спички, кому нужно!". Курьезно, что эта площадь была переименована большевиками в "Площадь борьбы со спекуляцией". Так гласила надпись, видимо, недавно повешенная. Но никакой борьбы с процветавшей на ней спекуляцией не было заметно. Тем лучше для населения, подумал я. Часам к пяти мы сели с моим спутником в поезд Вологда-Ярославль-Москва. Попали в привилегированный, но довольно необычный вагон. Вероятно, это был раньше вагон-ресторан. Во всяком случае, он не был разделен на купе, но в одной общей зале были расставлены стулья, на которые мы разместились. Ночью это было уютно. Наряду было много, но не слишком, никто не стоял. Среди пассажиров выделялась группа, человек шесть-восемь, молодых красных офицеров, только что кончивших военные училища. Все они побывали на Северном фронте и сейчас ехали не то в отпуск, не то их переводили на другой фронт. К моему огорчению (должен в этом признаться) они произвели скорее хорошее впечатление. Совсем молодые крестьянские или рабочие парни, с настоящими русскими лицами, что среди красных редко, аккуратно одетые, они держали себя подчеркнуто вежливо и скромно. Видно было, что они странно довольны, что стали офицерами и вышли в люди. Культурный уровень их был, конечно, очень низкий, примитивный и голова забита большевистскими лозунгами с примесью неко-

того патриотизма (С удовольствием рассказывали, как побили англичан у Мезени и даже взяли несколько человек в плен!). Со мной они охотно и любезно разговаривали, им и в голову не приходило, кто я такой. На ум пришли грустные мысли: Не так то легко будет разбить красную армию. Эти-то будут сражаться! И вместе с тем мне стало их даже жалко: как это большевикам удалось околнчить этих в сущности хороших русских людей! На платформах встречающихся станций, и чем ближе к Москве, тем больше, стояли толпы народа в ожидании поезда, но в наш вагон их не пускали, мы ведь были привилегированные. На платформе города Александровска, куда я на минуту вышел, меня обликнул из толпы один московский хороший, но не особенно близкий, знакомый. Он смотрел на меня с удивлением, недоумевая, что я здесь делаю. Он, вероятно, полагал, что я уже давно уехал из Москвы к белым. А я смотрел на него с опаской, тоже не зная, какие у него отношения с "товарищами". Мне было неприятно, что по дороге к белым меня кто-то узнал. В обмен мы ничего существенного друг другу не сказали, никаких планов не раскрыли и я оставил своего знакомого в состоянии неудовлетворенного любопытства. Но и он боялся или стеснялся меня спрашивать. В послеполуденные часы 19 августа/1 сентября мы благополучно прибыли в Москву.

От Ярославского вокзала до Кудриной-Садовой, где я остановился у моих родственников, выехавших с тех пор на Запад, пришлось идти пешком. Трамвай, правда, ходили, но были так переполнены, что нечего было и думать понасть на них с вещами. Вещи мы положили за плату на двигающийся в том же направлении ломовик, а сами пошли рядом. В то время грузовых автомобилей в Москве было сравнительно немного, и на улицах преобладал ломовой транспорт. Дом, где я остановился, был частично реквизируван представительством нашей строящейся железной дороги. Это во многом облегчало предстоящие нам еще хлопоты. Я точно не помню все учреждения, где нам пришлось побывать для окончательного оформления бумаг к отъезду, но в общем дело происходило следующим образом. В понедельник 21 августа/3 сентября, получив некоторые дополнительные бумаги от представительства нашей дороги, подтверждающие необходимость найма плотников, мы с моим спутником И. отправились в учреждение, где выдавались железнодорожные билеты для служебных поездок. Попросили билеты до станции

Дмитриев железнодорожной линии Брянск-Дьгов. Нам сказали, что предварительно нужно получить разрешение от ЦУНВОСО (Центральное Управление Военных Сообщений). Пошли туда. ЦУНВОСО занимало громадный многоэтажный дом, думаю, что в районе Арбата, точно не помню. При входе у нас спросили документы, потом на лифте мы поднялись в одну из комнат, на стене которой висела большая карта с обозначением линии фронта. Я с любопытством стал ее рассматривать (не делая вида, конечно), но ничего нового из нее не узнал сравнительно с официальными сводками. Помню, крупными линиями обозначалось положение красных и белых в районе прорыва Волчанск-Бупянск⁵. Затруднений мы не встретили и, насколько помню, нам тут же выдали нужную бумагу. Выходя из здания, я был опять охвачен грустными мыслями: какая громадная организация и какое это преимущество из центра руководить всеми военными сообщениями. Можно ли тоже самое сказать о белых? Нет, перед нами не красная гвардия семнадцатого года! Отправляемся отсюда за получением билетов. Но тут происходит неожиданная задержка. Служащие говорят нам, что билеты не готовы, что они не могут их так сразу приготовить, вот приходите завтра или даже послезавтра. Меня это крайне не устраивает. Моя командировка в определенную местность, сейчас она сравнительно близко от фронта, но положение каждый день меняется, Деникин может продвинуться вперед или отступить, тогда весь план моего перехода к белым рухнет, нельзя терять ни одного дня с отъездом. Конечно, всего этого я тогда им не сказал, но в несколько повниенном и настойчивом тоне стал говорить, что железная дорога, которая меня командировала, имеет большее военно-стратегическое значение, мост должен быть построен в срочном порядке, а потому всякая задержка с билетами недопустима, вы будете ответственны, если меня задержите. Речь моя имела полный успех. Нам тут же

5. В августе 1919 года крупными силами красной армии, частично перебросенными с Сибирского фронта, удалось на стыке Донской и Добровольческой армий глубоко прорваться в тыл белых в районе Валуйки-Бупянск-Волчанск, создав тем самым угрозу Харькову, к которому они подошли на 30 верст. Красные были, однако, разбиты и против ликвидированы.

приготовили и выдали билеты.

Окрыленный успехом, я пошел вместе с моим спутником в последнюю и самую страшную инстанцию: Отдел ВЧК по выдаче пропусков в прифронтовую полосу. В газетах незадолго до этого было напечатано постановление Совнаркома об образовании прифронтовой полосы размером в 150 верст от линии фронта. Там вводилось военное положение и для въезда в нее по служебным надобностям требовалось особое разрешение ВЧК. Нарушители подвергались ответственности по законам военного времени. А в Цупвосо мне сказали, что Дмитриев, куда мы были командированы, находится в пределах прифронтовой полосы. Итак, мы не без страха на душе, отправились на Лубянскую площадь. Что там находится "чрезвычайка", мы, конечно, знали, но в каком именно здании, нам было неизвестно. Слава Богу, до сих пор не приходилось иметь дело с этим учреждением. Пришлось на площади спросить милиционера, где ВЧК? Он молча указал пальцем на подъезд большого здания страхового общества "Россия", выходящий на Лубянскую площадь. Мы вошли. У входа часовой не было, и сразу нас никто не окликнул. Мы прошли несколько шагов вперед и стали подниматься по широкой каменной лестнице, имевшей всего немного ступеней. Дальше была площадка и на ней против нас нечто вроде высокого прилавка, за которым сидело двое мужчин. "Вам что нужно?", спросил один из них, когда мы приблизились к прилавку. — "Нам нужен пропуск для проезда в прифронтовую полосу" — "Предъявите документы", сказал чекист. Просмотрев их, он вернул их нам и сказал: "Это не здесь, а в Отделе выдачи пропусков. В другом здании, тут по близости". Мы вышли и направились к указанному нам зданию. Насколько помню, оно было типа особняка. У входа на этот раз стоял часовой с винтовкой, но ничего нас не спросил. Мы вошли в одну из комнат, где было довольно много народу, пришедших, очевидно, за пропусками, как и мы. За прилавком сидело двое, один латш лет под пятьдесят, говоривший по русски хорошо, но с сильным иностранным акцентом. Другой молодой еврей с характерно еврейской физиономией, интеллигентного вида. Я стал объяснять наше дело. "Предъявите документ от московской биржи труда", сказал латш, "что в Москве нельзя найти плотников специалистов". Пришлось объяснять этому болвану, что правление дороги не стало бы посылать людей так далеко для найма плотников, если бы их можно было найти

в Москве, что те плотники, которых мы нанимаем, уже работали на постройке моста и знают дело итд. К счастью, в дополнительном документе, который мне дали в Москве, были разъяснения по этому вопросу. Чекист перестал настаивать на своей бирже труда, задал еще какой то нелепый вопрос, я его сейчас забыл, но в конце концов уступил. "Заполните анкету", сказал он. Анкета содержала довольно подробные вопросы, что делал до революции, что с тех пор, какая сейчас профессия, образование, место и год рождения, московский адрес, цель поездки итд. Но самого неприятного вопроса о социальном происхождении, то есть, кто были родители, насколько помню, не было. Для меня, впрочем, заполнить анкету не составило большого труда: на все вопросы о профессии и занятиях в настоящем и прошлом я отвечал: студент, учился. Анкету нужно было заполнить так же без всяких поправок, под наблюдением чекистов, которые присутствовали и следили. Заполнив анкету, мы подошли к латини и отдали ее ему. Просмотрев ее, он сказал: "Приходите послезавтра днем". Мы стали просить дать нужные пропуски поскорее, опять аргументировали о срочности дела, но он был неумолим: "Приходите через два дня". Пришлось уступить. — "Но тогда наверно будет готово?", спросил я. — "Да, наверное", обещал латини.

Эта двухдневная отсрочка была для меня крайне неприятна. За последние дни сведения с фронта были неблагоприятные. Войска ген. Деникина отступили как раз на интересовавшем меня фронте. Они очистили Рымск и Коренево, стояли от Льгова и отступили к Сумам и Судже на Харьковском направлении. Я опасался, что они отойдут еще дальше от места моей командировки. Москва продолжала однако жить в атмосфере ожидания быстрого прихода белых. Моя тетюшка принесла мне с места ее службы тайно печатаемую на гектографе газетку "Воскресение России". Там печатались явно преувеличенные сведения об успехах белых. Например, о занятии Брянска и Курска. Брянск белые никогда не взяли, а Курск заняли позже. С другой стороны, мой приезд в Москву с намерением проехать к белым не мог остаться скрытым, хотя я сам воздерживался с кем либо видиться и ни с кем почти о моих планах не говорил. Тем не менее, ко мне явился один из моих двоюродных братьев с просьбой взять его со мною к белым. Дабы освободиться от призыва в красную армию, он поступил в военно-интендантское училище, но сейчас ему грозила отправка на фронт.

Собственно говоря, его не столько интересовала Белая Армия, он не был большим воякой, сколько он желал избавиться от отправки на фронт и попутно удрать из Совдепии. Я сказал ему, что помочь ему не могу. Без советских командировачных документов до фронта не доедешь. Достать их для него я не могу, я сам их получил с большим трудом. — "Чего ты боишься отправки на фронт?", добавил я, "ты там сможешь перебежать к белым" — "Вотсь", ответил он, "не поверят! Примут за коммуниста. Расстреляют. Доказывай, что ты не верблюд". Конечно, мой двоюродный брат был человеком не способным предать, но было крайне неприятно, что слухи о моем отъезде к белым поплыли по Москве. Кроме того, Чека (Отдел пропусков), зная мой московский адрес, могла навести справки и многое узнать обо мне. Одним словом, нужно было торопиться.

Через два дня, в назначенное время, мы явились в Чеку за пропусками. Часового у входа не было, и вообще дом производил впечатление какого-то разгрома, на полу валялись разные вещи. Впрочем, в этот момент я почти не обратил на это внимание. В приемной комнате за прилавком сидели те же латыш и еврей, но ни просителей, ни других чекистов не было. Я обратился к латышку за пропусками. "Сегодня ввиду переезда нашего Отдела в новое помещение", ответил латыш, "мы не можем вам выдать пропусков. Они не готовы. Вы их получите завтра утром в Чернышевском переулке". Меня взорвало. Опять новая задержка! — "Да ведь Вы определенно обещали, что я их получу сегодня. Прому выдать их мне сейчас!" — "Да это невозможно. Мы переезжаем". Выведенный из себя и вспоминая, как я два дня тому назад добился немедленного получения билета, я обратился к моему спутнику И. и процедил сквозь зубы, однако так, что всем было слышно: "Это чистый сабетах!" Эффект получился, однако, неожиданный. Латыш вскочил и, красный как рак, спросил сидящего рядом с ним чекиста еврея: "Вы слышали, что он сказал?" — "Слышал", ответил тот с противной улыбкой. Латыш ударил ладонью по прилавку и сказал: "Я Вас арестую за оскорбление сотрудника ВЧК". Проговорив это, он выбежал из комнаты. Мы двое и чекист-еврей оставались в комнате в напряженном молчании. Дело принимало опасный оборот. Через несколько минут латыш вернулся и сказал мне: "На Ваше счастье по случаю переезда у нас нет сегодня ка-

него советского стрелка (то есть часового). А то бы Вам показал, как оскорблять сотрудников Чеки!". Чтобы замять эту глупую и вместе с тем опасную историю, я счел нужным заметить, что я погорячился, но это произошло от того, что моя командировка действительно срочная и промедление меня обеспокоило. В ответ на это латыш стал читать мне, со своим акцентом, целую лекцию о том, что требовать невозможного является меџанством и что я, как интеллигентный человек, должен был бы это понимать. Я хотел ему возразить, что, как раз наоборот, требовать невозможного это романтизм, а меџанство есть примирение с действительностью, предпочел однако промолчать. Главное — это, что выбрался из Чеки! Думая сейчас об этом эпизоде, я не могу решить, действительно ли латыш хотел меня арестовать или играл комедию с целью меня напугать. Отсутствие стрелка представляется мне скорее предлогом, чем причиной перемены его решения. Ведь и без стрелка он мог меня легко арестовать. Вероятно, он передумал и решил, что задержать человека, посланного в срочную командировку может иметь неприятные последствия. Мое счастье, меня принимали за какую то важную личность.

На следующий день к одиннадцати часам утра мы были в новом помещении Отдела ВЧК по выдаче пропусков в Чернышевском переулке недалеко от Тверской улицы. На вид тоже бывший особняк довольно больших размеров. Внутри в приемной зале много народа ожидающих пропусков, но вчерашних чекистов, латыша и еврея, не видно. Вместо них с десятков служащих, все красивые и элегантно одетые молодые женщины нахального отталкивающего типа с жестоким выражением лица. С просителями обраџаются резко, даже грубо. — "Вот еще, ему нужно ехать, так мы должны из за него торопиться", говорит одна из них своей подруге, когда один из просителей настаивает, чтобы ему поскорее дали пропуск. Умудренный опытом, я этого не делаю, а только говорю: "мне сказали прийти в одиннадцать. Готов ли пропуск?" — "Подождите, Вас вызовут", отвечает чекистка. Крайне неприятный ответ: вызовут, подумал я, значит будут спрашивать, проверять итд. Плохо! Однако, через полчаса входит чекист в кожанной куртке и читает по списку фамилии лиц, получивших пропуск. Среди них моя и моего спутника. Подхожу, называю фамилию. Чекист, ничего не спрашивая, молча подает мне пропуск. В нем сказано, что товарищу Кри-

волеву (так они перепутали мою фамилию, тем лучше) разрешается по служебным обязанностям въезд в прифронтовую полосу в районе Курска сроком на один месяц. Подпись и печать Отдела ВЧК. Слава Богу, все в порядке, удалось таки обмануть чекистов. Остается только сесть в поезд и двинуться на Юг. Но поезда, как мы уже выяснили, ходили на Брянском направлении только через день. Приходится ждать до завтра. Делаю последние приготовления к отъезду. У меня прекрасный (слишком даже хороший, как потом выяснилось) кожаный чемодан и еще какая то сумка с бельем, брѳками итд., но никаких теплых вещей. В Москве осень едва начиналась (в Везьегонске она была уже в полном разгаре, все листья пожелтели), стояла чудная солнечная погода, днем просто жарко. До холодов, думалось, Бог даст, доеду до белых, а там все дадут. Чего себя обременять вещами! Это рассуждение было правильно только в одном смысле: до белых свои чемоданы я все равно бы не довез! Тетужка снабдила меня на дорогу двумя тысячами деньгами керенками и завила их из предосторожности в подтяжки. Керенки ценились выше чем советские деньги и имели то преимущество, что ходили также в районах, занятых белыми. Тетужка подарила мне также нательный образок Великомученицы Варвары. "Надень", сказала она, "а то попадешься к козакам, они примут тебя за нехриста и расстреляют!" (мой золотой нательный крест я перед этим потерял и в советских условиях было не так легко найти другой). По своей малоцерковности я тогда не знал, что Великомученица Варвара спасает от внезапной насильственной смерти, но теперь я твердо верю, что по ее молитвам Господь избавил меня тогда от нее. И во время моего путешествия к белым я ей молился, как умел.

Итак, 24 августа/6 сентября, после пятидневного пребывания в Москве, мы с моим спутником Н. добрались с нашими чемоданами в три часа дня на Брянский вокзал. Около поезда, составленного из теплушек, кроме одного вагона третьего класса, толпилось множество народа. Очень многие, естественно, стремились попасть в классный вагон, но два комиссара, в "классических" черных кожаных куртках и с ноганами, их не пускали. Они буквально истерически визжали на толпу, состоящую из простонародья. Классный вагон был предназначен для "привилегированных" коммунистов, советских служащих в командировках итд. Мы показали свои бумаги и комиссары нас бесприко-

словно пропустили. Вагон был полон людьми с их багажом, но мы все же нашли сидячие места в одном из купе. Поезд отошел к шести часам вечера. На следующий день мы прибыли к полудню в Брянск, откуда дальше идет однокорейка на Дмитриев-Льгов (тем же поездом без пересадки). Но еще до Брянска нам встретился бронированный поезд, идущий на север. Первая ласточка приближающегося фронта, чем я был очень доволен. Публика в вагоне была разнообразная, но в общем "товарищи" разных рангов. Завязались разговоры. Я старался быть, как можно более сдержанным и, конечно, никому не говорил о цели моей поездки. "Товарищи" принимали меня за своего. Помню, как двое из них рассказывали мне, как они занимали ответственные посты в одном из уездных городов Екатеринославской губернии и как им пришлось бежать при приближении Деникина. Один из них был комиссаром по продовольствию. Он был убежденным сторонником полной регламентации хозяйственной жизни, государственной монополии на всю торговлю, карточек итд. Все зло по его мнению шло от свободной торговли и спекуляции. "Мы построили целый аппарат государственной торговли, уничтожили спекуляцию. А теперь пришел Деникин и все наши труды разрушил", говорил он. "А как работал ваш аппарат?", спросил я. "Было налажено продовольственное дело?" - "Нет плохо работал наш аппарат", признался он. "Все продовольствие исчезло. Но это потому, что мы не успели наладить. Да и спекулянты мешали". Другой "екатеринославец" был человек скорее чекистского типа. "Куда же Вы сейчас едете?", спросил я его, "ведь почти вся Украина занята белыми" - "меня посылают организовывать партизанские отряды в тылу белых" - "Да разве так легко перейти фронт?", спросил я. Этот вопрос меня интересовал. - "Одному трудно, но при помощи наших на фронте совсем легко. Войска ведь хорошо знают линию фронта и какие движения войск предстоят". И он стал рассказывать, как он будет организовывать свои партизанские отряды. "Партизанскому движению в тылу противника наше командование придает большое значение". Мой спутник И. был занят в это время оживленным разговором со своими соседями, которые слушали его с открытым ртом. Он рассказывал, как в 1916 году он принимал участие в подавлении восстания "сартов" (так их называли до революции). Довольно мало известно, что когда царское правительство постановило в 1916 году призывать в армию туземное население Туркестана (до

этого оно было освобождено от воинской повинности), туземцы восстали и перерезали три тысячи русских переселенцев. Конечно, это восстание было жестоко подавлено армией. Я вот мой Н. рассказывал, как он (он служил тогда на железной дороге в Туркестане), как знавший хорошо местность, вел войска по горным аулам, указывая, где происходили убийства русских и как войска расправлялись потом с туземным населением. Я с ужасом слушал эти рассказы Н. и несколько раз пытался толкнуть его ногой, дать знак, чтобы он прекратил их. Я был убежден, что слушающие его "товарищи" вскочат со своих мест и арестуют его, как царского карателя и контр-революционера, подавляющего народные восстания против "царизма". Но не тут то было! К моему удивлению, "товарищи" слушали его с восторгом и полным сочувствием и одобрением. Я потом наедине сказал Н.: "Зачем Вы это рассказывали? Ведь Вас могли арестовать, как участника карательных экспедиций при старом режиме. А меня могли арестовать тоже за компанию. Будьте осторожны". Н. очень удивился: "А что плохое я сказал? Ведь сарты убивали русских". Повидимому и "товарищи" рассуждали также. Интересно отметить, что во всех этих вагонных разговорах почти никто не касался военных событий на фронте.

Начиная с Брянска стала ощущаться близость фронта и войны. В Брянске, где мы простояли около двух часов, вокзал был занят красноармейцами. Человек полтораста-двести. Им раздавали сейчас обед из походной кухни. Большинство сидело тут же на платформе или на земле и ело из своих котелков. Другие бродили по вокзалу. Офицеров не было видно. Потом их стали собирать и грузить в военные эшелоны для отправки на фронт. Вид у них был довольно распущенный. После Брянска вошел кондуктор проверять билеты. Так как у меня был служебный билет, он потребовал от меня паспорт. Никакого паспорта у меня, конечно, не было, я показал ему мои командировочные документы, включая пропуск от Чеки, а также вид на жительство, выданный Московским Университетом, единственный документ, имевшийся у меня помимо моих бумаг. Но все эти документы его не интересовали. "Мне нужно удостоверение с фотографией, а то люди пользуются чужими служебными билетами. Таково новое распоряжение". Еле удалось избавиться от этого через чур усердного железнодорожного служаки. Какие там еще фотографии, где их взять, когда все закрыто, даже в Чеке их

не требуют. Но повредить серьезно он мне не мог, он не чекист.

Стемнело. Мы подъехали к последней станции перед Дмитриевым, Дерюгино. На этот раз в вагон вошел военный, сопровождаемый красноармейцем с винтовкой на плечах. Военный держал в руках фонарик. Вагон наш слабо освещался, а в теплушках вообще не было никакого освещения (впрочем, как я потом убедился, и контроль там почти никогда не производился). Началась проверка документов. Мы въехали в прифронтовую полосу. Военный долго, при свете фонарика, рассматривал мои документы (видно было, что он не ахти какой грамотный). Потом молча вернул их мне и пошел дальше по вагону.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В ПРИФРОНТОВОЙ ПОЛОСЕ

Эх, яблочко! Да куда котинься?
В чрезвычайку попадешь, да не воротинься.
Несенка эпохи гражданской войны

Часам к девяти вечера мы прибыли в Дмитриев. Станция с ее деревянным вокзалом казалась пустынной. Мы сразу же в темноте отправились пешком с вещами к родственникам И. Их домик находился на окраине города в десяти минутах ходьбы от вокзала. Хозяин был в отъезде, в доме были его мать и сестра. Нас приняли радушно. Спать меня положили на деревянной скамье в столовой. На следующий день мы поехали в город, выяснять положение. Дмитриев небольшой уездный городок Курской губернии с немногими только каменными домами. На заборах и стенах висели приказы командующего И-ской советской армией ⁶ Егорова ⁷, где население оповещалось, что прифронтовая полоса объявлялась на военном положении, запрещалось выходить из дому между шестью часами вечера и шестью часами утра, все приезжающие из других областей должны безотлагательно регистрироваться у властей, никто не должен без разрешения допускать посторонним останавливаться у себя. Приказ предупреждал, что нарушители этих постановлений будут караться со всею строгостью законов военного времени. Все это очень затрудняло осуществление моих планов, особенно запрещение выходить ночью, так как перейти к белым мне представлялось легче всего ночью. Риск во всяком случае увеличивался. На городской пло-

6. Вскоре мне стало известно, что это была 14-ая армия

7. В прошлом полковник старой армии, А. И. Егоров. Примкнул к красным в 1918 году. С лета 1919 года командующий 14-ой советской армией на Южном фронте, с 28 сент./11 октября командующий Южным фронтом против Деникина. Впоследствии маршал Советского Союза. Расстрелян Сталиным, как и почти все выдающиеся красные военачальники, сражавшиеся против белых на Южном фронте. Но о дате его смерти существуют разногласия. Согласно с Большой Советской Энциклопедией (=БСЭ) 3-ье изд., он умер 23 февраля 1939 года (ничего не говорится, что был расстрелян). Но более достоверным сведениям расстрелян 10 марта 1941 года (См: Robert Conquest. La grande terreur. Paris. 1970 p. 445 В самом факте его расстрела сомневаться не приходится).

щади мы встретились с одним знакомым И., довольно сомнительной личностью по его словам, после революции видным местным коммунистом. Сейчас ему были даны диктаторские полномочия в городе Дмитриеве. Он это подчеркивал. Заспорив о чем то с подошедшим к нему человеком, он вдруг вспыхнул и раскричался: "Смотри, я вас всех порасстреляю!". И. поздоровался с ним, объяснил о целях своего приезда и представил меня, как командированного вместе с ним нанять плотников. Он посмотрел на меня с некоторым подозрением, однако поздоровался, ничего особенного не сказав. "Что нового?", спросил его И. Тот принял таинственный вид и сказал: "По секретным слухам Харьков и Екатеринослав заняты нами". Сказанное им, сразу показалось мне полной нелепицей. Ведь если Харьков и Екатеринослав были бы действительно заняты красными, то об этом трубили бы все газеты, а не передавали бы "по секретным слухам". Но сейчас, размышляя об этом, я думаю, что он имел в виду партизан в тылу белых, хотя и в таком случае сведения его были неверны⁸. И. стал разскивать подводу, чтобы поехать в село Селино, примерно в 25 верстах к юго-западу от Дмитриева, откуда он был родом и куда был командирован. Он стремился поскорее туда уехать, не столько потому, что спешил нанять плотников, сколько, чтобы отдохнуть в родном селе и переждать там развития событий. Он приглашал меня поехать с собой, но мне не было никакого смысла с ним ехать, Селино было слишком далеко от фронта, сидеть там долго без дела и ждать белых было опасно, а кроме того я хотел дожидаться возвращения хозяина дома, где остановился (забыл его фамилию, будем называть его М.). По словам И. он мог быть мне полезным в моем предприятии, как человек хорошо знающий местные условия. Нужно было, однако, позаботиться о продовольствии. Это была одна из трудных сторон путешествий в то время по Советской России вообще, а в прифронтной полосе особенно. В Дмитриеве, как в городе, так и на станции, нельзя было купить куска хлеба. Местные жители получали его по карточкам

8. На самом деле Махновские банды начали действовать 13 сентября и только к 14 октябрю захватили Екатеринослав, то есть через полтора месяца. См.: А. Деникин. Очерки Русской Смуты т. V стр. 235

в ограниченном размере, так что мои хозяева, где я остановился, были в нем стеснены, так что просить у них хлеба было неловко, да они и сами не предлагали. Спасибо за то, что разрешили жить, несмотря на связанный с этим риск. Я выяснил, что в городе действует столовая для служащих и приезжих, но для пользования ею нужно было получить разрешение от местного совета. С большой неохотой пошел туда и потом пожалел даже об этом. Стали спрашивать откуда приехал, зачем, сколько дней останусь итд. Дали все же какую то бумажку на право обедать, но сказали, что на сегодня уже поздно, можно только с завтрашнего дня и что столовая действует всего раз в день, а по вечерам закрыта. Словом, сегодняшний день приходилось "голодовать", как выражался П. Впрочем, он меня и выручил. Уезжая к вечеру в Селино, он мне оставил хлеба и кой-какое продовольствие.

За это время вернулся из поездки наш хозяин М. Это была любопытная личность. Местный житель, мещанин, лет тридцати пяти, он был более образован окружающей его среды, но интеллигентом я бы его все же не назвал. Он много разъезжал и занимался тем, что большевики называют спекуляцией. Торговал чем мог. Так он недавно приехал из Киева, откуда он выехал в день занятия его белыми, 18/31 августа. "Мы были на вокзале, еще находившемся в руках красных", рассказывал он, "когда белые заняли город. Я подумал было остаться у белых и это было совсем не трудно, но потом передумал. Слишком много было еще у меня незаконченных дел". Видно было, что он умеет ладить с большевиками (на почве спекуляции, вероятно). С ним приехала совсем уж странная личность (назовем его К.), видный коммунист, в уездном масштабе, конечно, лет сорока. Он, видимо, помогал М. в его спекулятивных поездках. Сам К. чем то провинился перед своим коммунистическим начальством, спекуляцией ли или другими более крупными политическими проступками, не знаю, но ему грозил арест и он в сущности скрывался у М., бравшего его в свои поездки. В общем они друг другу помогали. М. был рекомендован мне П., как человек, которому можно вполне доверять, он мог быть мне, как я уже сказал, полезен, так что я не стал скрывать от него цели моей поездки. Да и что было скрывать, когда П. и мать М. ему все уже рассказали. "Не понимаю Вас", сказал мне М. (Мы были наедине) какая Вам охота рисковать своей жизнью ради Чаева. Как это Вы согласились вести отчет, да еще через

фронт? Бросьте все это, советую Вам и возвращайтесь поскорее обратно, а то Вас здесь могут арестовать. Вы задумали опасное дело, оно может кончиться расстрелом". В ответ на это я решил сказать ему всю правду: "Да, действительно, я согласен с Вами, переходить фронт, рисковать жизнью ради какого то Чаева было бы величайшей глупостью, и я никогда бы на это не согласился. Я не такой дурак. Я еду не к Чаеву, а к белым. Про Чаева я сказал Н., чтобы он более старался и не смущался. А я еду к белым потому, что там мои родители и трое братьев, а главное я хочу сражаться вместе с белыми против большевиков". М. сразу переменялся. "Это другое дело", сказал он, "я Вас вполне понимаю. Но примите во внимание, Ваше намерение очень рискованное и опасное" - "Я это сознаю, но под коммунистами мне все равно нет жизни". Вскоре в комнату вошел К. и М. стал обсуждать с ним о разных возможностях и способах перебраться к белым. Правда, он ни разу не называл при этом моего имени и ничем не показывал, что он имеет в виду мои планы. Но я не обратил достаточного внимания на это обстоятельство и у меня создалось впечатление, что с К. можно говорить открыто обо всем.

Через некоторое время мне случилось остаться в комнате наедине с К. Он стал мне рассказывать свою жизнь, как он стал революционером и как он в революции разочаровался: "Я учился в школе, был мальчишкой любовательным, но живым и дерзким. Раз мне случилось совершить какой то неуместный поступок. Директор школы, желая меня пристыдить, сказал мне: "Это все равно, как если бы ты при всех скинул штаны" - "Разрешите скинуть сейчас", но мальчишески ответил я ему. Мой ответ был сочтен неслыханной дерзостью и меня исключили из школы с волчьим паспортом. Путь к образованию был мне закрыт, жизнь разбита, оставалось одно - уйти в революцию. Я и ушел. Стал революционером. Верелся. Но сейчас я во всем глубоко разочаровался, вижу, что ошибся и хотел бы начать новую жизнь". После этого разговор перешел на современные события, на белых, и я сказал, что собираюсь к ним перейти. В эту минуту кто то позвал меня из соседней комнаты, куда вела открытая дверь. Я вышел туда. Там стояла мать М., уже пожилая женщина. "Что Вы делаете?", сказала она, "зачем Вы рассказываете К., что хотите уйти к белым? Ему нельзя доверять, он жулик. Он Вас предаст". Я был ошеломлен, вернулся однако в комнату к К. Тот пробовал возобновить разговор о белых, но я уклонялся и отмачивался или даже го-

ворил, что никуда не собираюсь ехать. К. заметил это и обидился или, может быть, сделал вид, что обидился. Разговор наш прекратился и К. ушел. Я находился в большом беспокойстве, что же будет? Через некоторое время пришел М. "Напрасно Вы говорили с К. о белых", сказал он. - "А зачем Вы меня не предупредили, что с ним нужно быть осторожным? Более того, Вы сами при мне говорили с ним о переходе к белым. Я и решил, что с ним можно об этом говорить" - "Но я говорил в общей форме, не называя Вас. Это совсем другое дело. Впрочем, не беспокойтесь, он не посмеет на Вас донести. Я его держу в руках, знаю про него такие вещи, что ему придется плохо. И он знает, что я их знаю. Я его напугаю. Но Вы впредь будьте осторожны".

В это время у меня созрел новый план действия. Вехать в Селино или оставаться в Дмитриеве было бессмысленно, слишком далеко от фронта. Вместо этого я поеду к югу на Льгов, а оттуда на станцию Коренево по дороге на Биев. Коренево было одно время занято белыми, потом они отошли, но и сейчас оно ближе к фронту, чем Селино. Кроме того, П. оставил мне записку к знакомому ему мужику одного села в районе Коренева, там можно было остановиться и он мог бы мне помочь. Конечно, Коренево далеко от места моей командировки, верст сто расстояния, но в случае чего можно будет сказать, что мы не нашли плотников в Селине, а мне сказали, что их можно найти в районе Коренева, вот я и поехал туда. А кроме того в моем пропуске от ВЧК было сказано в общей форме, что мне разрешен въезд в Курскую губернию, без указания, куда именно, а Коренево находилось в Курской губернии, так что моя поездка туда была "законная". Словом, я решил ехать в Коренево, но так как поезда на Льгов в этот день не было, пришлось остаться в Дмитриеве еще один день. Пошел на следующий день (это было 27 августа/9 сентября) в советскую столовую, где меня накормили плохим и голодным обедом, правда, по дешевке, и к вечеру отправился на вокзал ожидать поезда на Льгов. Сначала, однако, пришел поезд из Льгова. В некоторых вагонах его везли раненных красноармейцев. Стоя на платформе станции по близости, слышу такой разговор (раненого с другим красноармейцем): "Мы их забрали в плен под Суджой. Сдаются в плен, сволочи, поднимают руки, кричат: "Пошады, товарищи, мы мобилизованные". Какое там, всех прикололи" - "Да у них нет мобилизованных, у них все добровольцы", отвечает другой, "к ним попадись, так у них пошады не будет". Уже поздно пришел московский поезд на Льгов. Хотя есть клас-

сний вагон, предпочитаю залезть в теплушку, надоели мне все эти конфуры. И действительно, в теплушке вплоть до Льгова нас никто не беспокоит. С нами едет немного народа, большая часть мужики. Но теплушки устлан грязным войлочным покровом. Ложусь на него. В скором времени чувствую, что кто-то по мне ползает. Неужто вши, думаю я. Это первый раз в моей жизни. Мужичек, едущий с нами в теплушке, их тоже замечает. "Воши, воши", философствует он, "поползли! Вен как!". Из разговоров мужиков между собой выясняется, что они в большинстве из Орловской губернии ("Ореловской", как они говорят). Там большой недостаток соли и она страшно дорога, а на Украине в районе Сум и даже Коренева ее много и она дешева, вот они и едут за ней. Это наводит меня на мысль а не сказать ли мне, если меня спросят, зачем поехал в Коренево, отвечу: За солью! Из пассажиров некоторые обращают внимание на мой кожаный желтый чемодан. Спрашивают: "Откуда он у тебя?". Или: "Не продашь ли ты его?". И в дальнейшем, пока я ехал до Коренева, такие вопросы и замечания продолжают. Один красный даже спросил меня: "Ты, наверно, офицера убил и забрал его чемодан. На что он тебе? Продай его мне". Внутренне я глубоко оскорблен его вопросом, но молчу. Даже думаю: хорошо, что они принимают меня за одного из "своих". Утром приезжаем во Льгов. Выясняю, что через некоторое время должен идти поезд на Коренево. Из разговоров между собой ожидающих его баб узнаю, что для поездки в Коренево нужно разрешение от коменданта станции Льгов. Иду туда. Комендант помещается в одной небольшой комнате вокзала. Невзрачная фигура средних лет в военном, товарищ Кан, кратко просмотрев мои документы и пропуск от ВЧК, дает мне бумажку с подписью и печатью о разрешении проехать до станции Коренево. Дата 10 сентября н.ст. 1919 г. Поезд состоит из открытых теплушек. Пассажиры - красноармейцы, железнодорожники, бабы, местные жители. Впервые слышу кощунственную матерную ругань. Так постоянно ругаются красноармейцы. Когда я служил в Весьегонске, на линии непрерывно был слышен мат, но никогда ни один рабочий или кто либо другой кощунственно не ругался. Да и в Белой Армии такой ругани я впоследствии никогда не слышал. Кощунственная ругань являлась так сказать отличительным признаком красной армии. У простых людей, мужиков и баб, она вызывала ужас и отвращение. "Страшно слушать", говорили они, "ну ругайся, если хочешь, но зачем святню затрагивать?". В теплушке молодой красноармеец, при-

дурковатый парень, рассказывает бабам свои "боевые подвиги": "Так я их всегда убивал. Рубил шашкой накрест. Вот так и так". И он делает жест, как будто рубит лежащего. "Что ты, что ты", возмущаются бабы, "так нельзя!" На меня мало кто обращает внимания. Через несколько часов приезжаем в Коренево. Вылезаю. Погода прекрасная, солнечная, хотя чувствуется, что осень приближается. По ночам холодно. Листья начинают желтеть. На станции сравнительно мало народа, на путях тоже не много вагонов. Но что теперь делать? Ждать белых? Сколько времени? На стенах, правда, висят еще отрывки сорванных денкинских приказов и обращений к населению (их узнаешь сразу, написаны по старой орфографии), радостно и грустно их читать, но близости фронта не чувствуешь. Стрельбы не слышно. Белые, видно, сильно отступили. Да и где ждать? И чем питаться? Вот уже сегодня с утра я почти ничего не ел. Нужно было бы попытаться пойти пешком в сторону белых, но вещи мешают. Тяжелые. Пробовал было пройти с ними. Через четверть часа устал. А главное этот чемодан, на который все обращают внимание. Зачем я его взял? Конечно: принимаю решение. Возвращаюсь в Дмитриев, там оставляю все или почти все вещи и налегке вновь вернусь в Коренево. Может быть к тому времени и обстановка на фронте изменится к лучшему. Сажусь на поезд в послеполуденные часы, возвращаюсь во Львов. Такие же открытые теплушки. На этот раз в вагоне вместе со мною едит с десятков железнодорожников из Львова. Вспоминают о пребывании белых в Коренево. Конечно, они говорят в присутствии посторонних (хотя бы меня) и это надо учитывать: "Не может быть, чтобы белые победили. Их всего кучка. Вот Коренево занял отряд всего 32 человека. Удивительно, как это они заняли пол России. Но они не удержатся. Да и народ не хочет их власти". Я не вмешиваюсь в разговор. Во Львов приезжаем

9. О численности белых войск, как раз в это время и в этом районе, по данным советской контр-разведки, интересные сведения сообщают советские источники. Глуховское направление: В районе Ворожба-Коренево-Львов (то есть на фронте 100-150 верст): Первый и Второй Дроздовские полки - 10.800 штыков и сабель. Дмитриевское направление: Самурский полк: 4.960 штыков и 750 сабель. Всего: 18.108 штыков, 4.173 сабли, 245 орудий. См: Гражданская война на Украине. Москва. т. II.

под вечер. Здесь полная "перемена декораций". На путях множество товарных составов. Станция забита красноармейцами, перроны тоже. Граммофон непрерывно выкрикивает для болтающихся по перрону красноармейцев всевозможный большевицкий агитационный материал. Помню распевалось стихотворение Демиана Ведного, о том, как большевик и меньшевик ухаживают за девицей, излагают ей свои программы и в результате девица отдает свои симпатии большевику и прогоняет меньшевика. На ночь пошел спать в большой вокзальный зал, где на каменном полу лежали сотни людей, так тесно, что трудно было среди них двигаться. На вид не то красноармейцы не то мешечники. В три часа ночи нас разбудили. Проверка документов, очевидно искали дезертиров. Как обычно, контролирует военный в сопровождении красноармейца с винтовкой за плечем. У какого то парня документы оказались не в порядке и его арестовали несмотря на его протесты. Мои документы военный долго перечитывал, но видимо не мог ни к чему придраться. Утром сел в поезд на Дмитриев, куда прибыл после полудня. Вид станции изменился. Больше оживления, больше вагонов на линии, а главное на вокзале питательный пункт для красноармейцев и агитационный пункт, где можно было покупать московские газеты. Я их не видел со дня отъезда. В них ничего особенного не было кроме сообщения, что в направлении на Льгов и Ворожбу (формулирую приблизительно, точно не помню) идут "встречные бои". На языке большевицких военных сообщений это означало, что белые наступают. На продовольственном пункте почти ничего было нельзя достать, да и это предназначалось только для красноармейцев. Меня, впрочем, за них принимали и трудностей не делали. Опять остановился у М. Его самого не было, он снова уехал по своим, вероятно коммерческим, делам вместе с "разочаровавшимся коммунистом" К. На следующий день в городе я натолкнулся на другой агитационный пункт, которого раньше не было, нечто вроде импровизированной книжной лавки, где торговали или раздавали разные большевицкие брошюры. У двери магазина снаружи большая карта Курской губернии. Это меня очень заинтересовало, я зашел и спросил ее. Продали без всяких затруднений. Карта была большого масштаба, десять верст в дюйме, но, к сожалению, не подробная, были отмечены только более крупные пункты (города и большие села. В частности, село Селино, куда я был командирован, не было на ней указано и у меня состави-

лось, на основании устных расспросов, неточное представление о его местоположении. В действительности оно находилось не на северо-запад от села Фатеевка (близ дороги Дмитриев-Севск), как это мне представлялось, а на юго-запад от него. Эта ошибка могла иметь серьезные последствия). Все же я был очень доволен моей покупкой, карта могла мне помочь ориентироваться в местности при переходе через фронт. Она была советского издания, что было видно из того, что она была напечатана по новой орфографии. Так как она была больших размеров, я вырезал из нее часть, которая меня больше интересовала (район Льгова-Коренева-Дмитриева и вокруг их) и спрятал эту часть в карман. Я оставил все мои вещи, в том числе и злополучный чемодан, у М. и только с небольшим узелком, с бельем и кружкой, в руках отправился в дальнейший путь. Это было через два дня по моем приезде в Дмитриев. Раньше не было поезда на Льгов. Поезд уходил вечером. В теплушке среди других были опять "ореловские" мужички. Над утро погода переменилась. Насмурно, мелкий дождь. Один из мужичков выглянул через двери вагона и проговорил: "Сентябрит". И действительно, было как раз 1 сентября старого стиля.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

АРЕСТ

Меня поймали, арестовали,
Велели паспорт показать,
"Я не кадетский, я не советский,
Я петушинный комиссар"

Несенка эпохи гражданской войны

Утром наш поезд прибыл во Львов. Здесь я сделал ошибку, не имевшую, впрочем, особых последствий. Дело в том, что по линии от Дмитриева на Львов имеются три Львова: Львов I, Львов II и Львов III. Вылезать нужно во Львове III, так как отсюда идет железная дорога на Коренево-Киев, здесь же и главный вокзал. В первую мою поездку я так и сделал, а сейчас я ошибся и вылез преждевременно на Львове II. Выяснилось, что до Львова III три версты и что никакого поезда туда не предвидится. Придется, значит, идти пешком, хорошо еще, что теперь нет со мной вещей. Итак, я пошел по дороге, проходящей недалеко от железнодорожного полотна, но тут возникло неожиданное препятствие. Впереди была небольшая канава и дорога переходила через нее по тоже небольшому мостику. Я подошел к нему и думал переходить по нему, но меня остановил стоящий у моста часовой красноармеец, высокий блондин с русским лицом. "Пароль", сказал он мне. Я стал объяснять, что по ошибке вылез слишком рано, что мне нужно во Львов, что я командирован и т. д. "Пароль!", вновь сказал часовой, и так как я ничего не мог сказать, часовой заявил: "Не могу пустить. Приказ" и даже перестал разговаривать. Что было делать? Немного подумав, я отошел влево сажень на пятьдесят и на виду у часового перепрыгнул через канаву. Я боялся, что часовой меня остановит, но он не обратил на меня никакого внимания. Это был типичный мобилизованный в красную армию, исполняющий приказы, но сверх этого не желающий что-либо делать. Красноармеец-большевик так бы не поступил. Я зашагал дальше и скоро достиг вокзала Львова III. По отрывкам долетавших до меня разговоров красноармейцев и железнодорожников я сразу сообразил:

на фронте произошла важная перемена. Белые наступают! ¹⁰. Напряженность и тревога чувствовались в воздухе. Однако, поезд на Коренево отходил, как обычно. Я сел на него, не зайдя, конечно, к "товарищу Кану", у которого четыре дня тому назад брал разрешение. Не хотелось снова попадаться ему на глаза, а в случае чего я покажу контролю мой старый пропуск. Снова влез в открытую теплушку поезда. Народу было не много: обычные деревенские бабы. Выделялись молодой красноармеец и более пожилой и толстый военный, типа прежнего унтер-офицера, в настоящее время если не чекист, то во всяком случае имеющий отношение к тому или иному виду "красной жандармерии" или органам безопасности, как сейчас говорят. Тронулись около одиннадцати часов дня. Погода прояснилась и опять был солнечный, даже жаркий осенний день. Мы уже были недалеко от Коренева, было около часа дня, как вдруг слева, к югу от железной дороги, послышались глухие звуки артиллерийской стрельбы. Стреляли в верстах десяти-пятнадцати от нас (как мне казалось), и канонада не прекращалась довольно долго. Эти звуки, я их слышал впервые, наполнили меня глубокой радостью и окрылили надеждою: фронт близок, белые наступают, избавление недалеко! Но, одновременно, было, конечно, и тревожно и страшно-вато. На красноармейца и на красного "унтера" стрельба произвела сильнейшее впечатление. Они оба как то съехились, на лицах отобразилась тревога. Они стали быстро обсуждать между собой происходящее, говорили: "Вот белые опять наступают, все не угомонятся, видно у нас все плохо организовано, везде измена" или, как "унтер" выразился "продажа". И он как то враждебно поглядывал в мою сторону. Через час мы приехали в Коренево. Стрельба к тому времени прекратилась.

Станция Коренево была забита товарными составами,

10. И действительно, за два дня до этого, 30 августа, Добровольческая Армия начала свое последнее большое наступление на Москву, завершившееся через месяц взятием Орла. Дроздовская дивизия, наступая на Рыльск и Дмитриев, заняла 3 сентября Суджу и 7 сентября Льгов. См: Вл. Кравченко. Дроздовцы от Ясс до Галлиполи т. I Мюнхен. 1973. стр. 281.

стоящими на запасных путях. Готовятся к эвакуации, подумал я. На самой станции было довольно много красноармейцев. У меня сразу составилась план действия: никуда не идти, никакой фронт не переходить, а ждать здесь в Коренева прихода белых. По всей вероятности они придут сюда через два-три дня. А ночевать можно будет в пустых теплушках, их на путях такое множество. А в случае контроля покажу документы. Самому, однако, нигде не заявляться, хотя это не по установленным в прифронтной полосе правилам. Самое большое затруднение, как питаться? Ну чтож, если не сумеем найти еду, поголодаем несколько дней. Во всем этом, конечно, много риска, могут арестовать, как подозрительного и неизвестно что делающего в Коренева, но все же меньше риска, чем пробираться через фронт¹¹.

От нечего делать и чтобы не мозолить своим присутствием глаза, выхожу походить в местечко, потом возвращаюсь на станцию, пью из имеющейся у меня кружки кипятка из куба. Он еще не закипел и меня предупреждают: "Не пей, заболеешь!", но я не обращаю на это внимания и не заболеваю. Кто-то даже дает мне кусок хлеба, но в общем, как мне кажется, никто не обращает на меня особенного внимания. Часам к четырем дня перемена обстановки: вновь южнее Коренева слышна канонада и даже, как будто, ближе чем утром. Впечатление, что стреляют из тяжелых орудий. На станции у красных тревога. Среди них группа человек 30-50 так называемых "красных кубанцев". О них в моем рассказе будет много сказано впереди, сейчас ограничусь отметить, что это была отборная конная часть красной армии, единственно по настоящему сражавшаяся и на которой, как говорили, держался весь фронт. Собственно говоря, настоящих кубанцев в этой Красной Кубанской бригаде было не много, большинство было из Харьковской и Полтавской губерний. Это были настоящие разбойники, от зверств и насилий которых страдало и стонало все население. Среди них, несомненно, было много чисто преступных элементов.

11. На самом деле белые пришли в Коренево только через четыре дня. Ожидать так долго на станции было бы очень опасно. На меня легко могли обратить внимание.

Они резко отличались от обычных мобилизованных красноармейцев, часто добродушных деревенских парней и совсем не большевиков ¹². Но об этом в дальнейшем, а пока "кубанцы" собрались в кучку на перроне станции и возбужденно обсуждали положение, а я старался прислу-

12. В моих "Воспоминаниях" я пишу о "красных кубанцах" только то, что я видел и слышал в девятнадцатом году, мои непосредственные впечатления. Сейчас хочу добавить некоторые исторические подробности. Отряд, впоследствии бригада Червонного казачества—это было их официальное название, хотя население прифронтной полосы называло их "красными кубанцами", наименования "червонные казаки" я тогда никогда не слышал, был сформирован осенью 1918 года кубанским есаулом В.М.Примаковым и сражался сначала против Петлюры. Летом 1919 года был переведен против Деникина, вел бои под Черниговом. С сентября включен в качестве бригады в состав 14-ой и одно время 13-ой советской армии (командующие Егоров, Уборевич, Гиттис) в районе Коренево-Рыльск-Дмитриев-Дмитровск. Сам Примаков, авантюрист и "смышленный мужик" по отзывам знавших его лично, "Герой гражданской войны", как называет его ВСЭ 2-ое изд., в тридцатые годы в чине корпусного командира был помощником командующего Ленинградским Военным Округом, оттуда послан на разведывательную работу в Хитлеровскую Германию и, как почти все другие красные командиры Южного фронта, расстрелян 12 июня 1937 года по приказу Сталина вместе с Тухачевским, Уборевичем, Якиром. Примаков был в это время женат на вдове Маяковского Лили Брик. Советская печать эпохи гражданской войны восхваляла "героические подвиги" красных кубанцев. См., например, в "Правде" от 22 ноября 1919 года статью некоей Гайсы Аварх "Безумству храбрых пою я песнь!", где она пишет: "Тихо(?), незаметно(!) делают они великое дело освобождения народа". Ген.А.В.Туркул отзывался о них по другому: "Мы ненавидели Червонную дивизию смертельно. Мы ее ненавидели не за то, что она ходила по нашим тылам, что разметала недавно наш Второй полк, но за то, что червонные обманывали мирное население: чтобы обнаружить противников советчины, червонные, каторжная сводочь, надевала наши погонны... Мы ненавидели червонных. Им от нас, как и нам от них, не было пощады". (А.В.Туркул. Дроздовцы в огне. Картины гражданской войны 1918-1920 г.г. в литературной обработке Ивана Лукаша. 2-ое изд. мюнхен. 1948 стр.119-120). Читатель может увидеть из дальнейших страниц моих "Воспоминаний", что не только население прифронтной полосы, но и многие мобилизованные красноармейцы ненавидели их не меньше и обзывали "хулиганами", "разбойниками", "зверьми". Как бы то ни было, нужно признать, что Червонной бригаде "товарища Примакова" принадлежит решающая роль, наряду с латышами, в перемене боевой обстановки в пользу красных в осенних боях против Дроздовской дивизии на Брянском, а затем и на Львовском направлении. За эти бои Примаков был награжден 13/26 ноября орденом Красного Знамени.

живаться к их разговорам. Конечно, они сопровождались грубейшей матерной кощунственной руганью. "Это по-страшнее Господа Бога гремит", с разгоряченными и вместе с тем тревожными лицами говорили они друг другу, вернее кричали: "Из тяжелых орудий стреляют. Говорят белне в Севастополе двенадцатидюймовые орудия с военных судов по-снимали и отправили на фронт. А наши все бегут, не могут их остановить. Кругом вселу: продажа" — "Да", говорит другой, "белне сражаются браво, ничего не скажешь. Только их мало. Если бы их было столько же, как нас, давно бы они нас победили. А если бы наши сражались так, как они, мы бы их тоже давно разбили". Приятно было слышать такие разговоры ¹³.

С наступлением темноты стрельба прекратилась.

"Кубанцы" тоже куда-то исчезли. Я вошел в здание станции и сел в бывшем буфетном зале на одной из скамеек. Скоро зал наполнился ново-прибывшими, человек около ста пятидесяти. Это были только что мобилизованные красными окрестные жители, в большинстве крестьяне. Одеты были в свою одежду, в руках узелки с вещами. Они явились по призыву и их отправляли куда то дальше. Один из них подсел ко мне и стал рассказывать, что в германскую войну он был призван и служил в поезде-бане. У него есть о том документы. Он хотел их мне даже показать и просил помочь устроиться и теперь в поезде-бане. Он это дело хорошо знает. Видимо он принимал меня за большевицкого начальника. Я сказал ему, что ничем не могу ему помочь, а сам подумал: Чего ты явился на большевицкую мобилизацию, сидел бы дома, какая тебе

13. Боевые качества Добровольческой Армии не могут отрицать советские историки: В боевом отношении некоторые части и соединения Добровольческой армии обладали сравнительно высокими боевыми качествами, так как в ее составе было большое количество офицеров, fanатично ненавидящих Советскую власть, но с лета 1919 ее боеспособность снизилась в связи с большими потерями и включением в состав Добровольческой армии мобилизованных крестьян и даже пленных красноармейцев. (Деникинщина в БСЭ 3-е изд.) Выражение "с лета 1919" не точно, как видно из высказываний "красных кубанцев", имевших место в начале сентября. Я бы сказал: с октября.

тут баня. И, вообще, мне было горько, что столько народа откликнулось на мобилизацию в красную армию и какие все они смиренные и покорные. Чтобы избежать дальнейших разговоров, я вышел из здания станции и пошел искать в уже наступившей темноте место для ночлега в одной из теплушек, гденибудь подальше от станции, в глубине запасных путей. Без труда нашел подходящую теплушку в одном из многочисленных товарных составов, взобрался в нее, закрыл за собою дверь теплушки и лег спать на солому. Было жарко, и я снял с себя гимнастерку (она узкая и туго вылезает через голову) и подложил ее в виде подушки под голову. Под утро стало холодно, и я, не вполне еще проснувшись, напялил на себя гимнастерку. И опять крепко заснул до утра.

Проснулся, когда было уже вполне светло. Свет проникал в вагон через не вполне закрытую дверь. Начинался день 2/15 сентября. Почти машинально и как по привычке, я засунул руку в правый грудной внутренний карман гимнастерки, где у меня находился бумажник с документами. Говорю "по привычке", так как часто проверял, лежит ли он на своем месте, и мне было приятно перечитывать мои документы. Это меня утешало и создавало чувство безопасности. К моему удивлению карман оказался пустым. Бумажник с документами куда-то исчез! Я подумал, что, вероятно, он выпал из гимнастерки, когда я клал ее под голову. Начал шарить в изголовьи, но и там ничего не было. Что такое, не может быть, бумажник не мог пропасть, вечером, когда я ложился спать, он был со мною, я это ясно помню, из вагона я не выходил. Но бумажника не было. Ужас стал овладевать мною. Я начал упорные поиски. Десятки раз пересматривал свои карманы, шарил место, где я лежал, обыскал всю теплушку. Нигде ничего! Меня охватывало отчаяние, но разум восставал: не может быть, ты не выходил из теплушки, никто в нее не входил, да и как можно было украсть бумажник из под моей головы, я бы проснулся. Бумажник не мог пропасть, надо искать! И я вновь начинал искать. Опять осматривал теплушку, вылез из нее и стал осматривать вокруг нее и под ней, хотя это было абсурдно. В саженях десяти от вагона была какая-то яма, заглянул на ее дно, хотя это было совсем глупо. Как мог туда попасть бумажник, раз я не выходил из вагона. Но близости что-то делали какие-то двое мужчин, по-видимому железнодорожники. Спросил их, не видели ли они моего бумажника, я его потерял. Они посмотрели

на меня с удивлением. Снова вернулся в теплушку продолжать безуспешные поиски. Так прошло более часа, может быть два. Как это ни абсурдно и невероятно, надо подчиниться действительности: бумажника с документами нет, он пропал! Но что же теперь делать? А делать что-то нужно и немедленно. Но весь мой план, однако, менялся. Стал обдумывать. Самый благоразумный выход: пойти на станцию и заявить железнодорожной Чеке (или как она там еще называется, я видел вчера там такое учреждение), что у меня пропали документы. В таком случае мне, вероятно, ничего особенного не угрожало, меня бы, вероятно, задержали и отправили в тыл для выяснения личности и там, тоже вероятно, выпустили, если бы не раскрыли, кто я и каковы мои настоящие намерения. Но это означало капитулировать и самому отказаться от моего плана побега к белым. И притом тогда, когда я, казалось, был так близок к цели. Да еще по такой глупой причине: пропали документы! Какой позор! Нет никогда я этого не сделаю. Остаться в Коренева и ждать белых, как я раньше думал, без документов тоже невозможно. Белые могли прийти через несколько дней, за это время кто-нибудь, более чем вероятно, потребует мои документы, у меня их нет и мне придется плохо. Остается один только выход: немедленно пешком пойти от Коренева по направлению к фронту и попытаться перейти его. Это был безумный шаг, но иного выхода я не видел. После, на основании опыта, я понял, что было бы, пожалуй, благоразумнее дожидаться в Коренева темноты, спрятавшись где-нибудь в вагонах, и потом уже ночью попытаться пробраться к фронту и идти сквозь фронт. Но и в этом был свой риск: не так-то легко было выбраться из местечка Коренева ночью, когда запрещено выходить на улицу, не может быть, чтобы там не было по ночам караульных, которые потребовали бы у меня документы, а их не было. А главное: дольше оставаться на месте в бездействии я не мог. Не хватало нервов.

Итак, около полудня я вышел из Коренева. Проходя благополучно весь городок с его домиками, садами и плетнями, я двинулся дальше по дороге в юго-западном направлении на большое село Снагость, откуда вчера была слышна артиллерийская стрельба. День был солнечный жаркий. Я сознавал, как опасно идти так по дороге без всяких бумаг по направлению к фронту, но другого выхода не было. На дороге встретился красноармеец с подводой. Он ехал в Суджу, до-

рега туда ответлялась от дороги на Снагость, и предложил мне под-
 вести меня. Я отказался, сказав, что мне не по дороге. Мне не хотелось
 с ним связываться, хотя он был любезным и веселым парнем и прини-
 мал меня за своего. Часам к двум дня я подошел к селу Снагость
 Рыльского уезда Курской губернии в 12 верстах от Коренева. Я про-
 шел длиннейшую деревенскую улицу, почти никого не встретив. Улица
 упиралась в другую поперечную улицу, тоже с рядом домов. Я увидел,
 что у дома, в который упиралась моя улица, сидела на земле или сто-
 яла группа людей. Я близорук, по дороге у меня сломались очки и я
 не мог хорошо рассмотреть, что это за люди чернеются. Почти дойдя
 до них, я повернул по улице налево, не обращая внимания и даже ста-
 раясь не смотреть на них (по присущему человеку "страусову" чув-
 ству": если я не смотрю, то и меня не видят). Они пропустили меня
 пройти перед ними и завернуть налево, но тут один из них крикнул
 в догонку: "Товарищ, постой!". Я остановился. "Куда идешь?"—"В Глу-
 шково", ответил я. Так называлось следующее большее село (и станция
 железной дороги) еще более к юго-западу; Я это знал по моей карте.
 Карта не была в бумажнике, а в другом кармане и потому не пропала.
 "В Глушково?", многозначительно протянул красный. "А ты знаешь, что
 там в Глушкове?"—"Нет", ответил я. Очевидно, он имел в виду, что там
 фронт или даже белые ¹⁴.—"Зачем ты идешь в Глушково?" продолжал
 спрашивать красный. "За солью", ответил я. "Но если туда нельзя,
 я не пойду". Я сказал "За солью", так как говорить о командировке,
 не имея документов, было нелепо. А за солью, как я уже сказал, многие
 ездили и как раз в этот район. И для простых людей это более по-
 нятно, чем какая-то командировка. "За солью. Вот как!", не унимался

14. Действительно, как раз в это время станция Глушково была занята
 батальоном 3-го Корниловского полка при поддержке двух броне-
 поездов (См: Левитов. Корниловский Ударный Полк. Нарих. 1974 стр. 317)
 Слышанная накануне на ст. Коренево стрельба из тяжелых орудий
 велась, очевидно, этими бронепоездами.

красный. "А документы есть?"—"Есть", уверенно ответил я, хотя знал, что их нет.—"А ну-ка покажи!". С какой-то последней надеждой, что бумажник окажется на своем месте, я засунул руку в карман гимнастерки, но, конечно, ничего там не было. "Я их потерял", вынужден был сказать я. "Потерял!", воскликнул красный, "ну-ка иди с нами!", и вся орава потащила меня в дом, где начался допрос. Это были те самые "красные кубанцы", часть которых я видел накануне на станции Коренево, человек тридцать на этот раз. Они были крайне возбуждены, в бешенстве, некоторые из них по крайней мере. "Ты деникинец", кричали они, "ты офицер, ты шпион, мы тебя расстреляем". Я защищался, как мог: "Какой я офицер, мне всего 19 лет"—"А почему мы знаем, что тебе 19 лет? А может быть 26?"—"Я тебя знаю, ты сын помещика из Лебедина", кричал другой. —"Да я и в жизни в Лебедине не был", возражал я.—"Я уже вчера заметил тебя на станции и сказал: Вот это деникинец!"—"Почему же тогда ты у меня не попросил документы?"—"Ну, это не так просто на станции подойти и попросить документы. Там это другим поручено"—"Я тебя видел издали, как ты шел по улице", говорил другой, "и сказал: Смотрите, вот деникинец идет!". Одним из главных аргументов, что я был шпионом, была, конечно, карта. Раз карта, значит шпион, чего еще тут говорить, все ясно. "На что тебе карта, раз ты не шпион?", говорили они. Напрасно я возражал, что карта у меня новая, по советской орфографии, открыто купленная в Дмитриеве, а купил я ее, чтобы ориентироваться в местности и не попасть по ошибке к белым. Они ничему не верили, да и мои аргументы о новой и старой орфографии явно превосходили их умственный уровень. Я начал говорить, что я железнодорожник, послан в командировку, имею пропуск от Чеки итд., но так как у меня не было документов, то это не производило на них никакого впечатления. Спорить с ними было бесполезно и я сказал: "Разобраться в моем деле вы не можете, отправьте меня в тыл, там в моем деле разберутся, что я действительно командированный. А с вами я и разговаривать не желаю!" Я это сказал, чтобы избавиться от этих взбешенных людей. И чтобы показать, что я не боюсь настоящего расследования. Эффект получился, однако, другой. Новый взрыв бешенства. Высокий "мордастый" казак, с красными лампасами на брюках, ударил кулаком по столу и заорал: "Ну вот, мы теперь видим, что ты деникинец. Это они с нами не хотят разговаривать! Сейчас тебя убьем!" Дело принимало

дурной оборот, хотя я и объяснял им в каком смысле я это сказал. Что им без документов невозможно разобраться в моем деле, а в тылу разберутся. Но это производило мало впечатления.

Не знаю, чем бы это все кончилось, вряд ли хорошим, но тут случилось неожиданное и необыкновенное обстоятельство. Меня спросили, есть ли у меня деньги. Я мог их скрыть, так как они были зашиты в подтяжках и вряд ли бы они их нашли. Но я подумал, а вдруг найдут и тогда будет хуже. Скажут: зачем скрывал? Поэтому я сказал: около двух тысяч, зашиты в подтяжках. Приказали снять подтяжки. Для того чтобы их снять легче, я снял мою гимнастерку (через голову). Вскрикнули подтяжки, подсчитали деньги, отобрали. Опять новые комментарии: "Вишь, керенки набрал. Значит к белым хотел уйти. И от нас хотел деньги спрятать" — "Да я, ведь, сам о них сказал" — "А ты думаешь, мы бы не нашли?", говорили мне в ответ. "Сколько мы в каблуках золотых монет выскаравливали". Я стал вновь одевать мою гимнастерку и, вдруг, из нее выскакивает мой бумажник и падает на землю! Я сразу понял: когда я ночью в вагоне под утро одевал мою гимнастерку, прослужившую мне ночью подушкой, бумажник выпал из бокового грудного кармана и каким-то образом очутился под гимнастеркой на спине. Я его не почувствовал, а так как гимнастерка была узкая, он не падал, а так и держался за спиной. А так как он был небольшой и мягкий, то я его не замечал. Я перерыл весь вагон в его поисках, обшарил все мои карманы, но мне и в голову не приходила мысль искать его на своей спине. Или снять гимнастерку, тогда бы он упал. И вот теперь он действительно появляется в нужный момент и спасает меня. "Вот мои документы", говорю я. Красные бросаются на них и читают. К сожалению, они малограмотные и плохо в них разбираются, но все же впечатление большое. Мои слова о командировке, пропуске Чеки итд. подтверждаются. Но-видимому, у красных кубанцев произошло разделение. Одни продолжают кричать: "Спрятал документы, хотел нас обмануть" — "Да почему же спрятал?", говорю я, "с какой целью?" — "Да подумал, что мы белые, только переоделись красными" — "Да если я белый, как вы говорите, то я бы только обрадовался этому и открылся бы вам". Один "кубанец" хочет снять с моей руки часы, но другой красный останавливает: "Нельзя, отдай! Троцкий издал приказ не убивать пленных и не отбирать от них вещей". Часы остаются у меня. Зато "мордастый" кубанец манит

меня на улицу, где стояла запряженная лошадь в линейку, и говорит: "Проедемся!"—"Проедемся", отвечаю я с какой то бравадой, чтобы показать, что ничего не боюсь. Но другой останавливает: "Что-ты", говорит он мне, "он тебе на болоте голову отрубит, ему это ничего не стоит. Не в первый раз уже!". А "мордастому" говорит: "Пошел вон! Что ты тут делаешь". Тот действительно куда-то уезжает один на своей линейке.

Во время допроса, не помню точно в какой момент, появляется в комнате председатель Снагостского волостного совета, Кирилл Дюбин. Мужчина лет 45, высокого роста, с короткой бородой, в высоких сапогах. А также два милиционера из местной милиции. Их присутствие действует на "кубанцев" сдерживающе. С другой стороны, "кубанцы" торопятся, они и без того потеряли со мною много времени, у них приказ куда-то спешно ехать. Передают меня со всеми документами и отобранными деньгами Дюбину и милиционерам, а сами уезжают. Я говорю Дюбину: "Они хотят меня убить"—"Не бойтесь", отвечает тот, "они уехали, а милиция Вас не тронет"—"А что будет?"—"Да пошлют на расследование". Милиционер уводит меня. Проходим мимо сельской церкви. Огромное для села здание белого цвета в стиле ампира¹⁵. Хочется перекреститься, но не решаюсь, как бы не показать, кто я такой. В это время с юго-запада раздается артиллерийская канонада, правда, не надолго. Первая за сегодняшний день, но ближе чем вчера. Верстах в пяти, вероятно. У милиционера встревоженное лицо. "Вот видите", говорит он, "каково положение. Неудивительно, что Вас арестовали". Милиционер приводит меня в помещение волостной милиции.

15. Снагость—большое старинное имение князей Варягинских, дарованное им за то, что в XVII-ом веке один из их предков разбил Стеньку Разина. А другой Варягинский был в XIX-ом веке Наместником Кавказа. Варягинские и построили снагостскую церковь. Все это я узнал много спустя, а тогда ни о каком имении не слыхал. Не до того было. Никого ни о чем не спрашивал.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В КРАСНОМ ПЛЕНУ

Хохочут диаволы на страже
И алебарды их в крови

Брюсов

Снагостская волостная милиция помещалась в большом крестьянском доме. Мы вошли в обширную комнату и милиционер, ни о чем меня не допрашивая, сел за стол и стал составлять протокол о моем аресте. Я тоже сел на стул. Милиционер очень долго трудился над составлением протокола, видно было, что это для него нелегкая задача по недостаточной грамотности. Наконец, он его закончил и предложил его мне для ознакомления и подписи. Вот его краткое содержание (опускаю многочисленные ошибки): 15 сентября 1919 г. в 3 часа дня был задержан по подозрению в шпионстве в селе Снагость красноармейцами первого красного кубанского полка Всеволод Александрович Кривошеев и передан Снагостской волостной милиции вместе с найденными на нем документами и деньгами для расследования. Против такого содержания протокола возражать было трудно. Скажу более: вероятно, по неравности милиционера протокол был составлен в выгодном для меня духе. Так там было опущено, что я был задержан не просто в Снагости, как было написано в протоколе, а когда я шел из Снагости в Глушково, то есть к самому фронту. Далее, причина ареста не была конкретизована и выражалась крайне неопределенно, как "подозрение в шпионстве". О потере и находке документов ничего не отмечалось, так что впечатление о необоснованности ареста еще усиливалось. Ничего не упоминалось и о соли. Я подписал протокол. В это время, думаю, что от пережитых мною волнений, мне сильно захотелось пить (впрочем, я с утра ничего не ел и не пил). Я попросил милиционера, не могу ли я выпить стакан воды. Он кликнул хозяйку дома, хохлушку лет тридцати, и сказал ей, чтобы она дала мне напиться. Она позвала меня в большие открытые сени, настолько далеко, что милиционер не мог слышать разговора, хотя я и не выходил из его виду. Она вынесла мне кувшин с холодным молоком и, с сочувствием и сожалением в голосе, сказала: "Как это Вы, паннч,

попались?" Я был растроган и сказал: "Ничего, ничего. Еще, может быть, обойдется". Хохлушка скептически и грустно покачала головой и сказала: "От них не так-то легко уйдешь". Напившись вдоволь молока, я вернулся к милиционеру, который вскоре повел меня в волостную каталажку недалеко от здания милиции. Это была небольшая продолговатая полуподвальная камера, оставшаяся, вероятно, в наследство от "старого режима", с каменным полом, без всякой мебели, с одной дверью и небольшим окном в ней на узкой стороне камеры. Оконце было без стекла и перегородено накрест железными брусками. Возможно, что в прежнее время в этой камере протрезвляли пьяниц. Меня заперли в ней на ночь (уже начинало темнеть, когда мы туда пришли) и поставили охранять меня мужика в тулупе, с топором за поясом вместо оружия. Через некоторое время мужику принесли для меня кусок черного хлеба и воды. Он просунул это мне сквозь оконце. Я попытался заговорить с ним, но он ничего не отвечал. "Эх, ты!", сказал я ему, "и говорить боишься!". Очевидно, ему так приказали. Ничего другого не оставалось, как лечь на каменный пол и спать. Было холодно, но от усталости я быстро и крепко заснул.

Когда я проснулся, было уже светло. Опять солнечный хороший день. Часам к восьми милиционер пришел за мною. Меня посадили на линейку, впереди кучер, позади милиционер с винтовкой, я посредине. Привезли в Коренево, где сдали Кореневской волостной милиции. Поместили в одной из внутренних комнат дома скорее городского типа. В прежнее время был, вероятно, особняком какого-нибудь состоятельного жителя, теперь реквизирован под управление волостной милиции. Открытая дверь комнаты выходила в коридор, никакой охраны не было видно. У меня мелькнула мысль: бежать! Но это было слишком рискованно, ведь неизвестно, куда вел коридор, и у выходной из дома двери стоял, наверное, часовой. Да и зачем так рисковать, раз после находки документов положение мое не было безнадежным? Через два-три часа меня опять вывели и под охраной красноармейца с винтовкой посадили в открытую теплушку узкоколейки Коренево-Рыльск (От Коренева, кроме большой железной дороги на Киев и Курск, в западном и восточном направлении, идет еще небольшая узкоколейка тридцати верст длины в северном направлении до уездного города Курской губернии Рыльска). По этой узкоколейке мы и поехали. Кра-

сноармеец, с винтовкой за плечем, сел на край открытой двери теплушки, свесив обе ноги снаружи и, казалось, рассматривал пейзаж. Опять приходит мысль: столкнуть бы красноармейца в спину с поезда и потом бежать. Но нет, это невозможно. Во-первых, я на такой поступок не способен, не решусь и не сумею столкнуть, а потом, куда бежать без документов? (Они были у красноармейца). Через полтора часа прибываем в Рыльск. На этот раз меня ведут к большому городскому каменному зданию, полному народа. Что там помещалось, точно не знаю, вероятно, комендантское управление города Рыльска. Сквозь толпу меня проводят, кажется, в отдельную комнату, к сидящему за столом какому-то большевицкому начальнику. У него взъерошенные волосы, расстегнутый ворот рубахи, вид полусумасшедшего. Перед ним стоит в развалку другой военный. Как выясняется, он просит дать ему отпуск, так как у него тяжело заболела мать. Начальник кричит на него жестиколируя, ораторствует: "Что такое мать? Ты должен служить революции, все оставить, всем пожертвовать, матью пожертвовать. Пусть умирает. Революция важнее всего!". Военный смотрит на начальника с презрительно-иронической улыбкой, как на помешанного, и сквозь зубы говорит: "Как это так? Пожертвовать матью? Пусть умирает? Да никогда в жизни!" Спор между ними продолжается. Один кричит, другой спокойно и с насмешкой отвечает. Наконец, начальник, заметив наше присутствие, берет у конвоира бумаги и просматривает их. "Дело о шпионстве!", восклицает он. "Ха! Ха! Ха!". Он громко смеется: "Хорошее занятие, нечего сказать! Поздравляю!" - "Совсем не шпионство", возражаю я. - "А что же такое?" - "Да вот я поехал за солью..." - "За солью", кричит сумасшедший, "так значит спекуляция? Ничем не лучше!" Но я знаю, что обвинение в спекуляции легче чем в шпионаже, и не спорю с ним. Начальник подписывает какую-то бумагу и передает конвоиру. Я обращаюсь к начальнику: "Я со вчерашнего дня ничего не ел. Нельзя ли у вас получить немного хлеба?" - "Нет у меня никакого хлеба!", отрезывает начальник. Меня выводят в соседнюю большую комнату. Ждем в толпе некоторое время. Какой-то красноармеец (вероятно, он слышал мой разговор с начальником) манит меня пальцем и я иду вслед за ним в соседнюю пустую небольшую комнату. Там он отрезывает мне половину большой буханки белого хлеба: "Возьмите себе! Только никому не говорите, за это строго наказывают". Искренне бла-

годарю его. Кто он? Просто добрый человек или втайне сочувствующий белым?

Вскоре меня ведут по городу в Рыльскую уездную милицию. Большое каменное здание тюремного типа. Очевидно, там и до революции была полиция. Помещают одного в довольно обширную камеру. Маленькое окошко наверху. За ним решетка и так глубоко в оконный проход в толстой стене заделана, что рукой не достанешь. По всему видно, старорежимная каталажка, большевики так солидно не строят. Не помню, была ли в камере какая-нибудь койка, кажется, деревянные нары для сна. Осматриваю камеру. На стенах многочисленные надписи здесь сидевших. Иногда просто имя и дата. Например: "Сижу здесь уже 26 дней, за что, не знаю". Или: "Просидел 17 дней понапрасну". Или: "Нахожусь здесь и не знаю, когда выпустят". Неутешительно, видно здесь сидят подолгу. Первый день ничем не кормили, потом как будто давали по куску хлеба, точно не помню. Два раза в день приходил надзиратель, смотрел не убежал ли я. Я жаловался ему, что держат здесь, не кормят и не производят никакого расследования. — "А ты сделай заявление", сказал он. Я так и сделал и подал бумажку с жалобой на третий день моего сидения в Рыльской милиции. На второй или третий день моего сидения в мою камеру поместили другого арестанта. Молодой человек 18 лет в военной форме с неприятной физиономией. Нечто болезненное и вместе с тем дегенеративное. Вледное лицо. Разговорились. Оказывается, чекист, служащий местной Чеки. По его словам посадили его за то, что опоздал на один день возвратиться из отпуска, но я думаю, что были и другие обвинения. "Что ты делал в Чеке?" спросил я его. "Да больше обыски и аресты производил. Очень часто, почти каждую ночь. А то и по несколько раз в ночь". — "А расстреливать приходилось?" — "Нет, на это есть особые назначенные". — "А можно было при обысках забирать что-либо для себя?" — "Что Вы, за это строго. Расстрел". Чекист очень волновался за свою участь и говорил, что не выйдет отсюда. Расстреляют! Так я провел трое суток в Рыльской милиции, от 3 до 6 сентября старого стиля (буду впредь датировать только по старому стилю, лучше запомнилось). Ходил по камере, думал. В голове вертелось одно стихотворение Брюсова, как-то созвучное моему теперешнему сидению в большевицкой тюрьме. И я не удержался и написал на стене камеры двустихие Брюсова, по-

ставленное мною эпиграфом этой главы: "Хохочут диаволы на страже и алебарды их в крови". Так я переживал мое тогдашнее заключение.

Шестого сентября меня перевели из Рыльской уездной милиции в другое несравненно более важное учреждение тогдашнего советского карательного аппарата, Военно-контрольный пункт 41-ой советской дивизии¹⁶. Это было подвижное учреждение, перемещающееся с места на место в связи с движением фронта и имеющее своей целью борьбу с военными преступлениями (шпионажем итд.) в прифронтовой полосе. В этом его отличие от Чрезвычайных Комиссий, имевших постоянное пребывание в одном месте и главной целью которых была борьба с контр-революцией. В действительности, однако, как мы увидим, Военно-контрольные пункты рассматривали часто дела, имевшие чисто "контр-революционный" характер, отдаленно только связанный с военными действиями, так что трудно было разграничить их компетенцию от компетенции чрезвычайок. Да и трудно, вообще, говорить о каких-либо компетенциях в том хаосе и произволе, которые царили в советских учреждениях в 1919 году, особенно в прифронтовой полосе. Обычно Военно-контрольные пункты только вели следствия и потом передавали дело Военно-революционному Трибуналу, имели, однако, право выносить сами приговор, то есть расстреливать или выпускать на свободу. Третий исход, то есть приговор к тюремному заключению, в эпоху гражданской войны редко применялся. В Рыльске Военно-контрольный пункт 41-ой советской дивизии, куда меня привели, помещался в реквизированном доме типа особняка. В приемной матрос в разорванных брюках записывает мои данные (фамилию итд.). Тут же другой матрос, элегантно одетый, брюнет с красивым, но жестоким лицом. На его матросской фуражке вместо названия корабля надпись: "Красный террор". Понимаю сразу, в какого рода учреждение я попал. В середине дома была комната средних размеров, без окон, а только с дверью, ведущей в дру-

16. Входила в состав 14-ой советской армии. Командовал 41-ой дивизией Эйдеман, латыш по национальности. Впоследствии корпусный командир. Расстрелян в 1937 году вместе с Тухачевским. См: Conquest стр. 197, 198 и 213

гую большую комнату с окнами во двор, где были видны деревья. У открытой двери (самой двери, как будто, не было, а был просто выход) сидел снаружи на стуле караульный красноармеец с винтовкой в руках. Караульные сменялись, но постоянно кто-нибудь да сидел. Внутри комнаты сидели на полу около стен или стояли и ходили по комнате арестованные. Некоторых приводили, других уводили, но в общем число их колебалось от 15 до 20. Я постепенно стал ориентироваться в их составе. Значительная часть их состояла из жителей Рыльского и других местностей, обвиняемых в сочувствии белым, временно занимавшим Рыльск и потом отступившим к югу. Другие были в чем-то провинившиеся военные красной армии. Преобладали крестьяне, мещане и, как мне казалось, ни одного настоящего контр-революционера или интеллигента кроме меня. Была, правда, группа в два-три человека, на вид военные чиновники интеллигентного типа, но их скоро куда-то перевели. Принесли горячий обед, какой-то борщ. С голодовки он показался мне очень вкусным. Я не могу вспомнить, пришлось ли мне ночевать в этой комнате Военно-контрольного пункта в Рыльске или нас в тот же день двинули дальше (в связи с этим возникает вопрос, перевели ли меня из милиции в Военно-контрольный пункт 5 или 6 сентября), как бы то ни было, в полуденное время 6 сентября среди наших караульных почувствовалась тревога. Сразу стало ясно: белые наступают и угрожают Рыльску! Это было крупное продвижение вперед белых, ибо до этого фронт проходил в 40-50 верстах южнее Рыльска. Из разговоров караульных узнаем, что в городе полная эвакуация. По улицам тянутся бесконечные обозы, спешно эвакуируются советские учреждения, везут всякий скарб. Наши караульные нервничают. Один из них, молодой парнишка хулиганистого типа, бьет с остервенением стекла в окнах, выходящих на двор: "Пусть белым не достанется!" Другой постарше пытается его остановить: "Что ты делаешь, дурной! Может еще придется вернуться, что ты будешь зимой с разбитыми стеклами делать?" Нам говорят быть готовыми к отъезду. Исчезает куда-то и наш часовой. В этот момент значительно сильнее чем раньше захватывает меня мысль: бежать! Воспользоваться паникой и отсутствием часового и бежать. Спрятаться в городе, где-нибудь в садах, их много, и ждать

белых. Они вот-вот придут ¹⁷. Подхожу к двери и долго стою. Направо из соседней комнаты идет коридор. По нему часто приходят и уходят люди. Очевидно, там главный выход на улицу. Налево то же коридор на вид по-уже, не видно, чтобы по нему ходили. Может он тоже выходит к какому-нибудь второстепенному выходу в сад или во двор. Выйду быстро, поверну налево и скроюсь. Но если меня заметят? Или у второго выхода стоит часовая? Или такого выхода, вообще, нет? Тогда меня поймут и тут же расстреляют. Слишком рискованно, а между тем абсолютной необходимости бежать нет. Мои документы могут меня спасти. Стою у двери и не решаюсь.

В последние моменты приводят новую группу арестованных. Пять человек из села Снагость, где меня задержали красные кубанцы. Среди них Кирилл Дюбин, председатель Снагостского волостного совета, присутствовавший при моем аресте. "А Вас за что же?", с удивлением спрашиваю его. — "Да за Вас", отвечает он. "Кубанцы вернулись, стали требовать Вас, хотели расстрелять. Но Вас уже не было. Обвинили меня, что я нарочно поспешил отправить Вас дальше, чтобы спасти. За это и арестовали". Позже я узнал, что против него было еще другое обвинение. Когда белке первый раз приближались к Снагости, он должен был эвакуироваться, как ответственный советский служащий (председатель волостного совета). По советским правилам ответственные лица обязаны были эвакуироваться, даже если не было на это предписания. Дюбин этого не сделал и оставался в Снагости при белых. Красные вернулись и ему было поставлено это в вину. Он оправдывался тем, что белые пришли неожиданно, и он не успел уехать. Среди других арестованных из Снагости был священник отец Павел. Его арестовали за то, что сын его офицер белой армии. Как это обнаружилось, приезжал ли к нему сын, когда белые были в Снагости или только при белых он поступил к ним в армию, не знаю. Во всяком случае красные, когда вернулись в Снагость, арестовали о. Павла. Они

17. В действительности Рыльск был занят белыми только 10 сентября, то есть через четыре дня.

также арестовали бывшего царского старшину этого села, семидесятилетнего старика, за то, что он при белых надел медаль (оказывается, что в дореволюционное время была какая-то медаль, которую носили сельские старшины, это был их отличительный знак). Привели еще двух мужиков из Снагости, тоже за выражение симпатий к белым. Вся эта группа в пять человек была арестована в Снагости "красными кубанцами". В последнюю минуту привели еще женщину из Рыльска, около 60 лет. Домовладелица-мещанка без всякого образования, обвинялась в том, что преподнесла белым букет цветов.

Уже начинало темнеть, когда мы поспешно двинулись в путь. В хаосе эвакуации наше начальство не сумело раздобыть подводы, достали только две, на которые погрузили вещи. Наши десять конвоиров с винтовками шли, как и мы, пешком, чем они были недовольны. К нам присоединили еще арестованного молодого красного офицера, в прошлом царского, одетого в черное, как комиссары. Его на окраине города встретили жена и теща и принесли ему узелки с пищей и вещами на дорогу. Конвоиры не препятствовали. Видно было, что они относились к нему, как к своему, иначе чем к другим арестованным. Оттого ли, что он, как и часть конвоиров, был родом из Рыльска или оттого, что он был красный офицер, мне тогда было трудно решить. Во всяком случае он был на привилегированном положении. С ним нас вышло из Рыльска всего 18 человек. Большинство мужички, жители Рыльска и различных недалеко лежащих сел прифронтовой полосы. Но только в Снагости было арестовано пять человек, а со мною даже шесть. "Кубанцы" постарались! Мы шли быстрым ходом, конвоиры нас непрерывно торопили. Часам к десяти вечера в юго-западном направлении, сзади нас, стала слышна отдаленная артиллерийская канонада. Вспыхнуло багровое зарево пожара. Конвоиры комментировали, что горят какие-то большевицкие склады. К утру подошли к какой-то деревне. Расположились отдыхать на открытом воздухе. Было холодно. Дремали. Конвоирам удалось достать подводы, и в дальнейшем нам не пришлось идти пешком. В общем, мы двигались вперед следующим образом. Впереди на своих подводах наше "начальство", "штаб" Военно-контрольного пункта из 5-6 человек. Мы его мало видели. Далее мы: на каждой подводе по двое арестованных, впереди возница-мужичек, сзади конвоир с винтовкой. Наш путь шел на северо-восток по дороге от Рыльска в Дмитриев.

Эвакуировать нас в южном направлении по железной дороге через Коренево и Льгов было, очевидно, невозможно, так как этот путь уже был перерезан белыми. По ночам останавливались в деревнях, где нам старались подыскать отдельное пустое помещение, которое легко охранять. Помню ночлег в селе Береза на полпути. Видно, здесь большое имение. Постройки экономии. На ночь нас поместили в большом пустом сарае. Конвоир матрос с надписью "Красный террор" разговаривает с молодым крестьянином, отпирившим нам сарай. "Это чье имение?"—"Волжиных"¹⁸.—"А что вы их убили?"—"Нет", отвечает крестьянин.—"Напрасно", поучает "Красный террор", "их надо всех убивать. И вместе со всеми детьми. А то они вырастут и захотят свое обратно получить. Зачем вы их не убили?"—"Да они уехали, скрылись". После этого поучительного разговора нас заперли на ночь в сарай наружным замком. Днем едем, как я уже сказал, на подводах. Погода, слава Богу, все еще ясная, солнечная. Днем даже жарко, но ночи сильно похолодали. Около нас появляются два всадника, сопровождают наш обоз. Как будто красные офицеры или просто чекисты. Распущенные хулиганистые типы. Пытаются изображать собою белых. Один даже надевает погоны, другой выкидывает желтый украинский флаг и так долго едет рядом с нашей подводой. "Поручик", издевательски обращается один из них ко мне, "как Вас эти мерзавцы поймали?" Сначала не отвечаю, а потом говорю: "Я был задержан красноармейцами"—"Ах негодяи", паясничает конный, "да как они смели! Их нужно расстрелять!" Наконец, это надоедает моему конвоиру и он прогоняет хулиганов: "Ступайте! Ступайте! Довольно побезобразничали!" Конные исчезают. Но почему они заговаривали именно со мною и называли "поручиком"? Значит, выделяли. Другой раз, когда я еду днем на подводе, кто-то толкает меня слегка в спину. Оборачиваюсь, это конвоир матрос, но не "Красный террор", а другой с разорванными брюками (надпись на фуражке "Черноморский флот").

18. Это было имение, 1.200 десятин, А. Н. Волжина, обер-прокурора Святейшего Синода в 1915-1916 г. г. Встретился с ним в Мюнхене в 1922 г., рассказывал ему этот случай.

Тихо протягивает мне буханку белого хлеба. Очень кстати. Нас, арестованных, уже два дня ничем не кормят (в отличие от конвоя). Слышим от красноармейцев конвоиров рассказ о "подвигах" красной армии (мне уже его приходилось слышать не раз с тех пор в различных вариантах): "На днях наши решили испытать, кто за красных и кто за белых. Надели погонны, кокарды. Целым отрядом пришли в Путивль. Заявляем: Мы белые, пришли вас освобождать". Жители сначала отнеслись недоверчиво, потом поверили. Стал собираться народ. Приветствуют, благодарят, подносят цветы. Предлагаем записываться в добровольцы. Записывается 150 человек. Приходит поп и начинает служить молебн на площади. Собралось множество людей. Посредине молебна наши по сигналу открывают огонь. Много убитых. А всех добровольцев расстреляли". Этот рассказ всегда вызывал у красных фурор и одобрение, рассматривался, как образец воинского искусства. Вызывал громкий смех. Но я иногда задаю себе вопрос: что это правда или красноармейский фольклор? Думаю, что правда, но только приукрашенная в подробностях ¹⁹. Большинство арестованных, как я уже сказал, крестьяне. Меня поражает их вера, их глубокая религиозность. Молятся, крестятся, бьют земные поклоны, когда могут. Не ругаются, говорят о Божественном. Конечно, если гром не грянет, мужик не перекрестится, все же несомненно, что русский крестьянин той эпохи был глубоко верующим и религиозным.

Через три дня путешествия, пешком и на подводах, проехав около ста верст, мы прибываем в город Дмитриев, где началась моя эпопея в прифронтовой полосе. Уже под вечер 9 сентября. Нас подвозят к вокзалу и грузят в теплушки. На этот раз такое распределение: В первой теплушке "начальство". Они устроились комфортабельно, спят в простынях и под одеялами (вероятно, и на матрацах). Но крайней мере, два самых главных из них. Во второй теплушке наши

19. Действительность такого рода фактов подтверждает ген. Туркул. Он описывает, как "червонные", надев погонны и прикинувшись белыми, заняли местечко под Ворожбой и потом расстреляли более двух сот мирных жителей, встретивших их гостеприимно, приняв за белых (Туркул стр. 119-120).

конвоиры. В третьей-мы, арестованные, восемнадцать человек. Один из конвоиров с винтовкой постоянно находился в нашем вагоне (конвоиры, конечно, часто менялись). На ночь дверь теплушки запиралась железным заслоном снаружи. Хотя мы, казалось, далеко отъехали от фронта, но сам фронт за эти дни сам приблизился к нам. В этом мы сразу убеждаемся. Конвоиры рассказывают: Льгов взят. Более того: только что получено известие, что белне взяли Курск ²⁰. "А что совсем плохо", говорит придурковатый молодой конвоир, "захватили всю Курскую Чрезвычайную комиссию. Всех"-"А что им теперь будет?", наивно, а может быть и хитро, спрашивает один из мужичков. "Как что?", с негодованием отвечает придурковатый, "Чего спрашиваешь, сам что ли не знаешь?" Мужички между собой перешептываются: А что, если на самом деле победят белне? С севера из Брянска приходит эшелон с красноармейцами. Их отправляют на фронт. Шумят, поют песни. Не унывают. Наши конвоиры завязывают с ними разговор (их поезд стоит как раз против нас): "Вы откуда?"-"С Сибирского фронта. Вот разбили Колчака, теперь едем разбивать Деникина. А вы кто?"-"Да вот везем арестованных"-"Велих? А на что их возить. Убить бы сразу!"-"Эти их разобьют", говорят между собой наши конвоиры. Поздно вечером наш поезд трогается на север по направлению на Брянск.

До Брянска мы едем двое суток. За это время удается лучше познакомиться, как с другими "соузниками" по теплушке, так и, хотя и в меньшей мере, с нашими конвоирами и даже "начальством". Поэтому я попытаюсь кратко описать их здесь. "Начальство" держалось от нас изолировано и мы мало видели его вблизи. Их было пять-шесть человек, какую кто должность занимал, трудно сказать. Во главе стояли два брюнета южного типа, скорее кавказцы чем евреи, впрочем не уверен относительно одного, по крайней мере. Некоторое исключение среди них составлял один очень словоохотливый армянин лет пятидесяти. Он часто во время стоянок приходил к нашему вагону и подолгу разговаривал с караульными. Те относились к нему с уваже-

20. Курск был взят Корниловцами 7 сентября.

нием и отзывались о нем, как о старом революционере и ученом человеке. С нами он избегал разговаривать. Караульных было человек десять. Во главе — караульный начальник типа унтер-офицера или фельдфебеля старой армии, примкнувшего к большевикам. Держал себя с военной выправкой, был сдержан в движениях, в лице его было что-то жесткое. Среди других выделялись два матроса, о которых я уже говорил. Один, "Черноморский флот", молчаливый и скорее добрый человек, давший мне буханку хлеба. Другой, "Красный террор", законченный тип коммуниста фанатика и извращенно жестокого человека. Отнюдь не взбаломошного, как комендант в Рыльске, а, наоборот, внешне сдержанного, аккуратно одетого в матросскую форму. "Давно что-то не попадался мне под руки офицер", рассуждал он с другим караульным, охраняя нас в дверях теплушки во время стоянки, "попадись он мне сейчас, так я бы ему показал". Один из мужичков, со свойственным им соединением наивности и хитрецы, спрашивает матроса о его надписи на фуражке: "Что это название корабля?" — "Нет, это программа", отвечает тот со снисходительным выражением лица. Остальные караульные были почти все молодые красносармейцы, малограмотные хлопцы, может быть и не плохие по природе, но развращенные службой во всяких "военно-контрольных пунктах" и подобных учреждениях, распушенные, одуренные большевицкой пропагандой, а то и просто придурковатые. И на всех лицах какая-то "Каинова печать". Во всяком случае, своим обликом они отличались от мобилизованных красноармейцев с их простыми русскими лицами, с которыми мне пришлось встречаться. Один из караульных особенно часто ругался по-матери. Желая на него воздействовать, один из мужичков говорит ему: "Ты знаешь, ведь за тем и сделали революцию, чтобы люди не ругались по-матери" — "Неправда", возмущается караульный, "если бы это было так, то за матернюю ругань расстреливали бы. Однако, не расстреливают". Другому юному караульному обедавшему в нашем присутствии в теплушке из своего котелка (нас никакими обедами не кормили), мужички стали с укором говорить: "Что ж ты не перекрестись перед едой?" — Он что-то пробурчал, но на следующий день сам, правда, конфузясь и стесняясь, перекрестился ко всеобщему одобрению мужичков. Конечно, в теплушке кроме нас, арестованных, никого не было.

Из заключенных отмечу, конечно, прежде всего

священника о Павла. О нем я уже говорил. Милый, тихий, скромный, смиренный человек. И сильно затравленный: не легко ведь, когда над тобой гогочут и называют "длинногривым". Мы с ним дружественно беседуем, но из осторожности острых тем не касаемся и я ему о моих "белогвардейских" планах не говорю, а он мне о своем сыне не рассказывает. И я не расспрашиваю. Остальные заключенные в большинстве, как я уже говорил, крестьяне. Кладут в вагоне земные поклонники, крестятся, молятся. Караульные вначале смеются, но потом это и на них действует. Начинают меньше ругаться. Среди крестьян один какой-то особенный. Средних лет, шатенистая борода, волосы под скобку. Прозрачные голубые глаза. Постоянно говорит о Библии, она у него была, он ее много читал. "Жалко, что Вы ее не взяли с собой", говорю ему. "Хотел", отвечает он, "да побоялся. Отберут, будут кощунствовать, издеваться." Уж не сектант ли он, этот знаток Библии, думаю я. "Я не так боюсь сам пострадать", говорит он в другой раз. "Пусть даже расстреляют или умру в тюрьме. Но детей жаль, останется на них клеймо. Будут говорить: Отец был контр-революционер". Двое арестованных образуют особую группу, держатся вместе, видно, приятели. Один, восемнадцатилетний украинский хлопец, сын кулака. Прятался от большевиков в конопле, но они его поймали. Говорит мало, но не скрывает своего враждебного отношения ко всему советскому. Караульные отвечают ему тем же. "Вредный!", как они о нем отзывались. Другой из города Сумы, лет 35, с усиками, одет по городскому, вылитый приказчик. Очень разговорчивый. Он был в Сумах, когда туда пришли белые, но потом почему-то уехал оттуда в районы, где были красные. Там его арестовали, сочтя за агента белых, засланным к красным. Он много рассказывает, отвечая на вопросы, о жизни в Сумах при белых и, нужно сказать, в благоприятном для них духе. — "А что там рабочие не унижены?", спрашивает кто-то, кажется, из караульных. "А чем унижены", отвечает он, гуляют с офицерами по городскому саду". спрашивают его, называют ли там офицеров "Ваше благородие"? Он говорит, что нет. Начинается спор, кто-то утверждает, что только у красных не говорят "Ваше благородие", а у белых продолжают говорить. — "Нет, не так" возражает "приказчик", "Вашего Благородия" сейчас нигде нет. Волки съели". Караульный не выдерживает и вмешивается: "Что это ты все белых хвалишь, видно, ты их очень любишь".

"Приказчик" замолкает. С нами также сидит литовец красноармеец. Кокаинист, бродяга, где только в прошлом не побывал, даже у белых. Опустившийся и не вполне нормальный человек. Очень бойкий говорун, по русски говорит довольно хорошо. Одет в солдатскую шинель. Арестован по обвинению в дезертирстве. Вероятно, хотят также выяснить, что он за личность. Загадку представляет для меня арестованный в Рыльске красный офицер (я уже упоминал о нем). Он пользуется большим доверием у наших караульных красноармейцев. Постоянно с ними разговаривает и удивительно умеет подладиться к ним. Красноармейцам приятно, что офицер, да еще поручик старой армии, так болтает с ними запанибрата. Рассказывает о своей службе в красной армии. "Он большевик", думаю я, "он им сочувствует. Но почему же его держат?". Будущее ответило отчасти на мои недоумения ²¹. Помню еще одного арестованного молодого человека (как будто его присоединили к нам в пути), интеллигентного вида, вероятно, студента с "поэтической" наружностью. За что он сидел, не знаю. Он очень переживал свое заключение, был в угнетенном душевном состоянии, боялся расстрела. На этой почве у него начались тяжелые припадки эпилепсии, по несколько раз в день, он бился, терял сознание. И чем дольше, тем его припадки усиливались и учащались. На нас, да и на караульных, эти припадки действовали удручающе. Испытывал унижительное чувство своего бессилия чем либо помочь и возмущение, что с больным человеком так жестоко поступают. "Вот большевизм в своей подлинной сущности", думал я и, конечно, молчал. Никакой медицинской помощи ему не оказывалось. Караульные стали, однако, выражать недовольство, и через несколько дней, когда с больным случился очередной припадок, один из "начальников" пришел на него посмотреть. После этого, на одной из станций не доезжая Брянска, его куда-то забрали, говорили в больницу. Наконец, последний "экземпляр" из моих воспоминаний о созаключенных Военно-контрольного пункта: домовладелица-мещанка из Рыльска. Несчастный, жалкий, измученный и вместе с тем не-

21. См. о нем ниже на стр. 109-110.

сносный и даже противный человек. Непрерывно рассказывает, как ее арестовали по доносу племянницы, которая наклеветала на нее красным, когда они вернулись в Рыльск, будто она поднесла белым букет цветов. "И все для того, чтобы захватить мой дом. Она и раньше просила, чтобы я пустила ее к себе с мужем, но я не согласилась, вот она теперь мстит мне". И она начинала громко молиться: "Господи, накажи ее, порази ее. Пусть она ослепнет, пусть она сдохнет!" При этом она крестилась и кланялась. Мужички останавливали ее: "Так нельзя молиться. Против другого. Грех!" А караульные издевались. Уже шестидесятилетняя полная женщина, не привыкшая в прошлой жизни к лишениям, она трудно переносила тяготы арестантской жизни. Длинные переходы пешком, спанье на голом полу итд. Но больше всего мучила ее мысль, что ее расстреляют. Боялась смерти. Отношение к ней караульных было жестокое. Насмешки, издевательства, даже запугивания. Под конец она стала явно сходить с ума.

Едем из Дмитриева в Брянск. Подолгу останавливаемся на станциях. Грустное чувство, что все дальше и дальше удаляемся от фронта. Голодаем. По мере приближения к Брянску погода меняется. Пасмурно, холод, дождь. Настоящая осень. С каждым днем все более и более замечаю, что я у "начальства" на плохом счету. Меня выделяют среди других. Правда, я иногда недостаточно осторожен. Например, караульный "придурковатый" малый, разговаривая с красным офицером, рассказывает о разных арестах. Красный офицер тоже рассказывает, как он ловил шпионов на Гомельском фронте. "Ну и что ж, расстреливали?", спрашиваю я. "Придурковатого" взорвало: "Вижу я, что ты из всех здесь самый вредный. Все о расстрелах говоришь. Видно, наделал такое, за что расстреливают. Вот все об этом говоришь. Все об этом думаешь". Я молчу и больше на такие темы не заговариваю. Не надо дразнить гусей, и без того трудно. Гораздо более серьезный случай происходит на одной остановке на пути к Брянску в один из следующих дней. Нужно принести два ведра воды для нас в вагон. Караульный спрашивает, кто готов это сделать. Вызывается один из мужиков и я. Берем по ведру. Кран в нескольких саженях от нас позади вагонов. Моя единственная мысль немного протиснуться, но когда прохожу мимо теплушки "начальства", из нее чуть не выскакивает один из главных, хватая меня за плечо и приказывает:

"Обратно!" А потом, обращаясь к караульному: "Я же приказывал вам этого никуда не пускать!". Возвращаясь в теплушку, вместо меня воду приносит другой мужичек. Ночью подсаживается ко мне литовец-кокаинист и тихо говорит мне: "Сегодня караульный начальник рассказывал нам: вам не следует особенно беспокоиться. Из всех вас будут расстреляны два-три человека, не больше. И в первую очередь этот (то есть я). У него нашли карту и он явный шпион. Вам грозит расстрел", продолжает шептать литовец. "Я знаю, Вы офицер. Бежим сегодня ночью вместе. Разобьем двери и выскочим. И выпрыгнем из поезда" - "Да как же разбить дверь? И что делать потом без документов?", спрашиваю я. "Разобьем, я знаю как", говорит литовец. "Полетит к свиньям. А насчет документов, не беспокойтесь, достану новые. Не в первый раз". Я обдумываю. В моем трудном положении мысль о бегстве очень заманчива. Но план бегства слишком безумный, да к тому же положение мое все же не безнадежное, я могу еще оправдаться, к чему так безумно рисковать? А главное очень уж сомнительная личность этот литовец. Может быть, провокатор-предатель, во всяком случае полусумасшедший. Отвечаю: "Я не офицер, а студент. А потом у меня документы в порядке, в моем деле разберутся и меня выпустят. Мне не зачем бежать" - "Ну, как знаете", говорит литовец, "только никому не говорите" - "Не бойтесь, никому не скажу". Литовец уходит. А я и сейчас в недоумении, кем был этот литовец? Не думаю, что провокатор. Скорее, он и сам хотел бежать, а я ему был нужен, чтобы в случае чего составить протекцию у белых. Еще тяжелый случай: Рильскую "домовладелицу" на одной из станций под Брянском выводят из теплушки по естественной нужде. Несколько в отдалении на железнодорожных путях. Сопровождает ее, как всегда в подобных случаях, караульный с винтовкой (из "придурковатых" хлопцев). Становится на известном расстоянии. Вдруг, "домовладелица" бросается бежать. Полное безумие, конечно, ведь спрятаться негде. В одну минуту караульный ее догоняет, бьет прикладом и приволакивает к вагонам. Она в истерике. Из своего вагона выскакивает "начальство", кавказец, и кричит на караульного: "Ты что ее не пристрелил?". "Домовладелицу" "кроют матом". Куда-то уводят. Караульные рассуждают между собой: "Ну, конечно! За побег расстрел". Однако, через полчаса ее возвращают и водворяют в нашу теплушку. Очевидно, решили, что не к чему расстреливать сумасшедшую ста-

руху. Вероятно, всыпали и отпустили обратно. Караульный наш замечает: "Счастье ее, что это не был матрос. Он бы ее пристрелил на месте".

Утром 12 сентября приезжаем, наконец, в Брянск. Вот уже десять дней прошло с тех пор, как меня арестовали "кубанцы" в Снагости, а меня еще никто не допрашивал и не началось расследование моего дела. В Брянске нас разделяют. Те, дела которых были уже рассмотрены Военно-контрольным пунктом, переданы были Военно-революционному трибуналу. Их было большинство, 13 человек. А остальных пятерых, трех Снагостских мужиков с председателем волостного совета Дюбиным во главе, священника о. Павла и меня (иначе говоря, всю Снагостскую группу, задержанную "красными кубанцами") передали в Особый Отдел при штабе 14-ой советской красной армии. Нас привели в большое кирпичное трех-или-четырёхэтажное здание, где помещался Особый Отдел. Раньше там была женская гимназия. В приемной в нижнем этаже нас записывает в большую толстую книгу человек в военной форме того же "унтер-офицерского" типа, с которым мне уже неоднократно приходилось встречаться в рядах красных. А, может быть, в прошлом он был также каким-нибудь тюремным служащим. Во всяком случае, вид у него был "старо-режимный". Я заметил, что, у записываемых предо мною в книгу, кроме обычных сведений (имя, профессия итд.) спрашивают также о их сословной принадлежности, что было очень странным, так как большевики отменили все сословия. Я начал обдумывать, что сказать? Дворянин, как было на самом деле? Опасно. Крестьянин? Воюсь, что не поверят. Скажу, думаю, нечто среднее. Скажем, мещанин. Так и решил, но надзиратель вместо того, чтобы спросить меня, как других: "Сословие?", сам сказал, взглянув на меня, как мне показалось, с какой-то чуть заметной иронической улыбкой: "Крестьянин?" - "Да", ответил я, раз он сам мне так подсказывает. Но почему он так сделал? Далее он спросил меня, какой губернии, уезда, волости, деревни. Мне не трудно было придумать ответ. Я назвал деревню итд. местности, где я перед тем работал близ Вельегонска.

Нас повели после этого в верхний этаж, в огромный продолговатый зал, с окнами, выходящими в город, на его длинной стороне. Там нас поместили вместе с другими заключенными. Как только они заметили среди нас о. Павла, раздались крики: "Поп! Поп! Смотрите: Длинногривый!" И несколько человек из заключенных стали петь из-

девательскую песенку: "У попа была собака, Он ее любил, Она съела кусок мяса, Он ее убил, И в землю закопал И надпись написал: У попа была собака" итд. до бесконечности повторялась эта песенка, пока это занятие не надоедало. О. Павел не обращал на эти издевательства никакого внимания. Пела, собственно говоря небольшая группа, остальные никак не реагировали. Не реагировали и караульные. Таково было мое первое впечатление от Брянского Особого Отдела. Число, находившихся вместе со мною за время моего пребывания там, заключенных колебалось от 45 до 50, одни уходили, других приводили. В заде, кроме двух парт, на которых устроились двое "привилегированных" или просто ловкачей, не было никакой мебели, ни коек ни стульев, так что все сидели и спали на пыльном полу. Слава Богу, что еще не было тесно. В полдень раздали по небольшому куску черного хлеба, а потом принесли неплохой по тогдашним понятиям горячий обед из одного блюда. Суп с крупю и плавающими в нем квадратными кусками мяса или что-нибудь в этом роде. Вечером ничем не кормили. Так как мы прибыли не с утра, нам в этот день никакой еды не полагалось. Можно было за деньги (их отобрали, но ими можно было пользоваться для покупок) заказывать на базаре через одного из караульных хлеб и другую еду, но опять таки на другой день.

Особый Отдел, действовавший в Брянске наряду с Чрезвычайной Комиссией и Военно-Революционным трибуналом, был учреждением более высокого уровня чем Военно-Контрольный пункт, хотя компетенции их были сходны, борьба со шпионажем и другими подобными военными преступлениями в тылу красной армии. В действительности, у нас сидел более широкий круг людей и среди них, насколько можно было заметить, мало подлинных контр-революционеров, а более провинившиеся большевики, более крупных калибров, чем в Военно-контрольном пункте. Но об этом позже. На следующий день по прибытии, часов в 11 утра, меня вызвали на допрос. Караульный повел меня по каким-то лестницам и закоулкам и привел в обширную комнату, где за разными столами и в разных местах ее, сидело двое. Один из них был следователем. Это был человек лет 35 с темными волосами, худыми чертами лица, в черном кителе. По всей вероятности русский, слабой интеллигентности, думаю, что кончил что-нибудь вроде городского училища в смысле образования. Другой, более молодой и разви-

той на вид, сидел за своим столом, казалось, погруженный в работу, что не мешало ему внимательно следить за моим допросом, как выяснилось потом. Следователь пригласил меня сесть на стул против него и начал допрос. Я должен здесь сказать, что к этому допросу я долго готовился, мучительно обдумывая, какие вопросы мне могут задать и что отвечать (как шахматист обдумывает возможные шаги противника и нужные на них ответы). Все вспоминались допросы Раскольникового его следователем Порфирием Петровичем в "Преступлении и Наказании". И я воображал моего будущего следователя советским "Порфирием Петровичем". Особенно потому, что в моем деле были слабые и опасные для меня места. Например, на данном мне во Льгове "товарищем Каном" пропуске стояла дата 10 сентября н.ст., а я был арестован в Снагости близ Коренева 15 сентября н.ст. Спрашивается, что я делал эти пять дней? Сказать, что вернулся из Коренева в Дмитриев (свыше ста верст расстояния) и потом вновь поехал в Коренево, непонятно и бессмысленно, если кто действительно послан в командировку и не имеет каких-нибудь особых планов, как я. Скрыть все эти передвижения, а вдруг, следователь, выслушав меня, взглянет на дату моего пропуска и, как Порфирий Петрович Раскольникового, "огорошит" меня вопросом: "А что Вы делали пять дней? А почему Вы умолчали о Ваших передвижениях?" Тогда лучше самому рассказать? Но это запутывает и осложняет все дело, может быть понапрасну, ведь следователь может сам ничего не заметить. Другой опасный пункт: почему я из Коренева пошел пешком в Снагость (и даже хотел идти дальше), то есть к самому фронту. Единственный ответ: за солью!, но он был явно неудовлетворительным. Я мучился, стараясь придумать, как бы избежать это опасное место. Но сейчас, когда начался настоящий допрос, я скоро убедился, что моему следователю далеко до "Порфирия Петровича" Достоевского! В сущности, вся первая часть допроса свелась к тому, что я должен был подробно рассказать о моей поездке, где я был, что делал. Иногда следователь пытался меня поймать или смутить, но как-то примитивно. Так, когда я рассказывал, что проезжал через Вологду и получил там разрешение на проезд в Москву от штаба Шестой армии, следователь сказал: "Шестая армия вовсе не на Северном фронте". Я стал спорить, но тут вмешался другой человек, сидевший за своим столом: "Он прав, штаб Шестой армии действительно в Воло-

где". Следователь был посрамлен. Далее, он пытался меня поймать на вопросе о плотниках: "Расскажите, как бы Вы стали нанимать плотников? Ну с чего бы начали?" Этот вопрос поставил меня в затруднительное положение, я не имел понятия, как нанимают плотников. "Да пошел бы в местный совет", все же сказал я, "навел бы у них справки о плотниках. А потом мне помог бы мой спутник по командировке, он лучше знает техническую сторону". На мое счастье следователь тоже не имел никакого понятия, как нанимают плотников и не был в состоянии углубляться в этот вопрос. Дошло до самого опасного момента в моем рассказе. Я глухо и без указания дат сказал: "Из Льгова я поехал в Коренево...". Я опасался, что следователь взглянет на дату моего пропуска и скажет: "А что Вы делали пять дней" итд., но ему и в голову не пришло сделать это, а я, конечно, не стал сам рассказывать о моем двукратном путешествии Дмитриев-Льгов-Коренево. Для объяснения уклонения от места командировки, села Селино, в Коренево и от него пешком на Снагость, я все же вынужден был упомянуть о пресловутой соли, но это не имело плохих последствий, так как следователь имел самые смутные понятия о расположении мест, о которых я рассказывал, хотя отобранная у меня карта находилась у него под руками на столе. Видно было, что в его представлении Селино и Коренево почти рядом, а Снагость тоже по близости и не к Югу, а к северу от Коренева (а между тем от Селина до Коренева около ста верст!). Поэтому мое "уклонение" казалось ему незначительным и несерьезным. Сама карта вызвала также некоторые вопросы (для малоинтеллигентных людей карта массивный аргумент!). Пришлось объяснять, что если бы у меня были какие-нибудь особые цели, я бы достал ее заранее, а тут она новая, советского издания, я купил ее в Дмитриеве. "Чем Вы можете это доказать?"—"Она издана по новой орфографии". Следователь этим ответом удовлетворился. Попала ему еще в руки записка моего спутника, где он просит крестьянина одного села близ Коренева помочь мне. Он долго рассматривал эти каракули и заметил: "Да это пишет совсем не интеллигентный человек". И это совершенно его успокоило. Он даже не поинтересовался спросить, где находится это село.

После этого началась вторая часть допроса: социальное происхождение. Ответы мои были обдуманы заранее. "Чем занимался

Ваш отец?"—"Он был служащим Морозовской мануфактуры в Орехово-Зуево", ответил я (В этом была частичная правда. Мой отец, действительно, после революции был одним из директоров этой мануфактуры). "Кем? Директором?" , усмехнувшись, спросил следователь (Удивительно, как он попал в самую точку!)—"Нет, счетоводом", отвечаю я. "А что, он жив?"—"Нет, скончался", ответил я. Это была неправда, но я счел благоразумнее так отвечать, а то еще начнут спрашивать адрес. "А Вы чем занимались?"—"Учился в университете". Допрос кончился. Следователь как-то смягчился и, снова ухмыльнувшись, сказал: "Ну я вижу, дело простое. Вас послали в командировку, Вы оставили Вашему спутнику делать всю работу, а сами поехали покупать себе соль!"—"Ну это не совсем так", ответил я, но не стал особенно спорить. После этого следователь начал составлять протокол. Долго сидел над ним, наконец прочитал и дал мне в руки текст. Он был составлен куда более грамотно, чем в Снагостской милиции, но все же с грамматическими ошибками. В нем, в сущности, ничего не было. Только мой рассказ о путешествии, о командировке, об аресте итд. Кратко и неясно в подробностях. Не упоминалось даже прямо, что я уклонился от места командировки, кто не знал географии местности, мог даже не догадаться об этом. Ничего о соли и ничего о второй части допроса, о социальном происхождении. "Согласны ли подписать?", спросил следователь. "Согласен", ответил я и без затруднения подписал протокол. "Но в чем же меня обвиняют?", спросил я еще. Следователь опять ухмыльнулся и многозначительно сказал: "В подозрении"—"А что будет дальше"—"Это как посмотрит коллегия следователей". Допрос закончился. Я возвращался в зал заключенных со смешанным чувством. "Могло бы быть гораздо хуже", думал я, "даже ни в чем определенном не обвиняют. Но не может быть, что они мне так во всем поверили. Это с их стороны уловка, появится какой-нибудь советский "Порфирий Петрович" и скажет: "А почему Вы то и то умолчали?"

Прошли первые два-три дня заключения. За это время я несколько ознакомился с моими сокамерниками. Преобладают среди них, как я уже сказал, сами большевики. Любопытная коллекция человеческих типов. Самый яркий из них, пожалуй, товарищ Азарченко. Лет сорока пяти, маленького роста, рыжий, вся грудь и руки в татуировке. При царе был на каторге на Сахалине, после революции в гражданскую

войну партизан на Дону против белых. Захвачен в плен ими с группой партизан. Когда белые их расстреливали, упал на землю, хотя не был ранен. Рядом с ним убитый, у него сорвало череп. Накрывается окровавленным черепом и, когда белые пошли добывать, приняли его за убитого и не тронули. Так, по крайней мере, рассказывает он сам. В последнее время был во главе Чеки недалеко от Киева. "У меня дело было хорошо организовано", рассказывает он, "по чайным и трактирам сидели агенты, знакомились с приезжающими, подсаивали, вылавливали контр-революционеров". После взятия Киева белыми, поехал жаловаться в центр на предателей, высокопоставленных лиц. Но те его перехватили по дороге и держат уже более трех недель арестованным. "Мне не выйти", говорит он, "слишком много знаю про важных лиц, не допустят". Он забрался на парту, но когда молодой парень, обвиняемый в дезертирстве, забирается на соседнюю парту, он на него кричит: "Тебя только вчера сюда привели, а ты уже на лучшее место лезешь. Ты что, дезертир? Да я бы тебя давно расстрелял, чего тебя держат?" Из любопытства и чтобы провести время, разговариваю с ним. "Я всякого контр-революционера сразу вижу", говорит он мне. Но как будто он меня не "видит". Во всяком случае, когда я рассказываю ему, что я послан был в командировку и что у меня все документы в порядке и, тем не менее, меня арестовали, он замечает: "Удивительно, как у нас до сих пор нет согласованности в работе между разными учреждениями". Другая любопытная группа: командный состав бронепоезда, шесть человек, из них два еврея, одетых в штатское, вероятно, комиссары, остальные красные офицеры. Евреи самые приличные и культурные на вид. Когда в первый день в Особом Отделе я остался без еды и увидел, что одному из евреев принесли с базара много хлеба и другой пищи, я подошел к нему и попросил хлеба. Он сразу же, ничего не говоря, отрезал мне большой ломоть черного хлеба. Офицеры бронированного поезда, вероятно, были раньше офицерами военного времени в старой армии. Это был тип распущенных хулиганистых людей, спившихся к тому, хотя сидение в Особом Отделе привело их к одному знаменателю. Но они, особенно двое из них, в брюках галифе, старались не унывать, пели песенки той эпохи. Вроде "Вова приспособился", выплясывали чичетку и другие кабацкие танцы. Я спросил одного из них: "За что же вы сидите, вы ведь красные офицеры?" — "Да

так, в пьяном виде нарикошетили", ответили мне. "То есть вы пьянствовали, за это вас посадили?"—"Нет, за это бы не посадили, а вот в пьяном виде нарикошетили, это плохо". Но что именно они "нарикошетили", они умалчивали. Видно, что-то серьезное. Сначала, наслышавшись, что меня "поймали с картой", они считали меня за шпиона, но когда я им в общих чертах рассказал о моем допросе, они сказали: "Ну Вас выпустят. А нас нет". Добавлю, что оба красные офицеры, плясавшие чичетку, были зачинщиками пения "У попа была собака" и других издевательств над о. Павлом (Через несколько дней эти издевательства прекратились. Надоели ли или устыдились?). Сидел еще один красный офицер кавалерист в разорванных совершенно от верховой езды брюках. "Проделал я верхом все отступление, более тысячи верст, как только пришли на отдых, меня сразу по допису арестовали, а за что, не знаю?" Трудно понять, кто он был на самом деле?

Из тех, кого можно условно назвать "контр-революционерами", отмечу прежде всего двух бывших городских города Брянска, одного лет сорока, другого старше. Один из них сидел уже восемь месяцев, а другой даже дольше. Это были глубоко несчастные, голодные, забитые, измученные по разным тюрьмам люди. В одном нижнем белье, с босыми ногами, хотя уже наступили холода, особенно под утро. Грязные, вонючие, совершенно опустившиеся и потерявшие человеческий облик. Их держали в стороне, около одной стены и запрещали приближаться к другим заключенным, настолько они были грязными, но все же так они пытались это делать, попрошайничали, просили окурка папиросы или кусочка хлеба. Становились перед кем-нибудь, кто ест, и молча на него смотрели. Иногда им давали, а иногда били и прогоняли. В насмешку их прозвали, одного "Деникин", а другого "Шкуро". И, вообще, много насмехались и издевались над ними. Заставляли делать самые грязные работы. По теперешней терминологии их можно было назвать "доходягами". Говорили о них, что они сидели за то, что расклеивали деникинские прокламации, но мне это не верится, они были неспособны на это. Просто, их держали, как бывших городских. Раз утром один из них стал мочиться в нашем зале прямо на пол (По ночам никого не выпускали в отхожее место, и "параша" не было в зале). К нему подскочил один из офицеров бронепоезда и начал яростно клеветать его по щекам. "Я ведь запрещал тебе это делать!", кричал он

на него, но тот продолжал мочиться. Запомнилась еще другая группа, пять-шесть человек, арестованных в городе Глухове по обвинению в принадлежности к контр-революционной организации ²². Среди них сравнительно молодая учительница, недурная собою, прилично одетая, но с неуравновешенным выражением лица. Вот, что она мне рассказывала (она была очень словоохотливая): "Я была учительницей в Сумах. Много пила, стала кокаиnistкой, потеряла место, бедствовала. Пришли белые, и я пошла в комендантское управление просить работы. Поручик мне говорит: "Работы у меня для Вас нет, а вот, если хотите, поступайте к нам в шпионки". Я, не подумав, согласилась. Дали мне фальшивые документы, снабдили деньгами и направили в Глухов, откуда я родом. Помогли перейти через фронт. Благополучно добралась до Глухова, но тут испугалась и сама пошла в милицию и сказала, что я послана шпионить. Меня арестовали, много били, добивались, к кому я послана. Я и назвала несколько человек, которых я знала в Глухове. Их тоже арестовали". Арестованные по ее указанию были, конечно, озлоблены на нее, негодовали и сторонились ее. По их словам учительница все выдумала. Они меня даже предупреждали: "Не разговаривайте с ней, она ненормальная, фантазерка. Воспользуется разговором с Вами и потом повыдумает на Вас. Попадете в беду!". Я стал ее остерегаться, хотя все же иногда разговаривал с ней. Мне было ее жалко. Она была убеждена, что ее расстреляют. "Эх, хотелось бы кутнуть напоследок!", говорила она. Отобранные у нее деньги ей не возвращали и пользоваться ими для покупок не разрешали, о чем она жалела: на них хотела "кутнуть". Был среди арестованных еще один странный тип. Толстый, уже не молодой. Он был послан в командировку и при проверке документов, где-то в пути, у него обнаружили множество пустых бланков за подписью и с печатью учреждения, которым он был командирован. Советские власти строго преследовали тех, у кого обнаруживали такие пустые бланки, так как их можно было потом самому заполнить и поль-

22. Город Глухов был занят белыми 14 сентября, то есть как раз в эти дни.

зоваться применительно к обстоятельствам для шпионских или спекулятивных целей. Арестованный отрицал, что у него были такие цели: "Вы знаете, что теперь такой недостаток бумаги, я и захватил их, чтобы на них писать, а то, простите, и для туалетных нужд употреблять. Всякий силен задним умом, если бы я знал, что меня за них арестуют, я бы их перечеркнул". Сомневаюсь, чтобы следователи удовлетворились такими объяснениями, но не думаю, что арестованный был контр-революционер, скорее спекулянт. Другого посадили за то, что в Брянский почтамт пришло письмо "До востребования" с указанием фамилии, но без инициалов. Оно пролежало там полтора года, никто не приходил за ним. Наконец, его вскрыли большевицкие власти. Содержание было краткое, но неясное, так что при желании его можно было толковать как условное. Власти стали разыскивать в Брянске лиц с фамилией адресата. Нашли и привели в наш Особый Отдел. Обвиняли в шпионаже на основании письма. Он возражал, что если бы письмо было действительно для него, он бы зашел за ним в почтамт, он ничего о нем не знает, да и фамилия без инициалов. Но ему не верили. Не знаю, чем все это кончилось. Настоящим белогвардейцем был из всех сидящих с нами только один (поскольку я мог это заметить, конечно). Молодой человек, кажется, девятнадцати лет, служил в одном из кавалерийских полков Добровольческой Армии. Во время конной атаки он был оглушен ударом шашки по голове, упал на землю без сознания и был подобран в таком виде красными. Они почувствовали, что это не мобилизованный, а настоящий доброволец, отделили от других пленных и отправили в Особый Отдел для расследования. Я с ним много дружественно беседовал, откровенно, но не до конца, он не рассказывал, что он доброволец, я его об этом не спрашивал и сам не говорил, что стремлюсь к белым, но мы хорошо понимали друг друга. Он много и с любовью говорил о Белой Армии, опять таки не переходя грани осторожности.

Ежедневно вызывали двоих из нас подметать пол на площадке лестницы рядом с нашим залом. Сразу же вызвали о. Павла. "Длинногривого, длинногривого!", закричали хулиганствующие элементы из сидящих с нами красных, "пусть поработает!". Батюшка смиренно и беспрекословно вышел подметать площадку. Мы с ним сблизились за наше сидение в Брянске и много говорили друг с другом. Он меч-

тал, если его освободят, вернуться к себе в Снагость, хотя бы пешком. "Но как я смогу перейти линию фронта?", недоумевал он. — "Может быть к тому времени фронт сам перейдет сюда?", говорю я. Меня тоже на следующий день назначили подметать пол на площадке. Дали в руку метлу. Я стал энергично подметать, но больше подымал пыль, чем делал дело. Наблюдавший за нами караульный начальник (тоже тип дореволюционного унтера) заметил это и пробовал меня учить, но я мало преуспевал. "Видно, ты никогда в жизни не мел", сказал он! "Сидел бы спокойно, а то пет, не можешь успокоиться, лезешь, ну вот и попал сюда". В другой раз слышу того же караульного начальника, рассказывающего какому-то красному, чем-то провинившемуся и попавшему арестованным к нам (разговор шел в дверях зала): "Повели мы на расстрел генерала. Монархист, у него нашли три пуда погромной литературы. Не разговаривает, только повторяет: "Что делаете, делайте скоро!". Проходим мимо церкви, крестится. А чего там креститься, все равно ему конец, не спасет его Бог. Неужто сам того не понимает?". На площадку, где я мел, привели два-три десятка пленных белых солдат. Это бывшие красноармейцы, взятые в плен белыми и зачисленные ими в Белую Армию, а потом снова взятые в плен красными. "У белых плохо", говорили они мне, "чуть что, порят шомполами. Вот мы и перешли к красным"—"А к белым как вы перешли?", спросил я. —"Мы к белым не переходили, они нас забрали в плен", испуганно встрепенулся пленный. Сколько во всем этом было правды и сколько приспособления к обстоятельствам, сказать трудно. У белых они пробыли три недели. Их не посадили вместе с нами, как белого кавалериста, но держали на более свободном положении, хотя все же под арестом. Вообще, как я узнал, у красных была тогда такая система по отношению к пленным белым. Они делили их на три категории: 1. Сдавшиеся в плен мобилизованные. Их вскоре зачисляли в красную армию. 2. Бывшие красноармейцы, попавшие в плен к белым и вновь взятые в плен красными. К ним относились строже и производили расследование при каких условиях они попали в плен к белым. Не дересли ли сами? 3. И, наконец, заядлые белогвардейцы, их сажали в Особые Отделы и, вероятно, ликвидировали, если не расстреливали на месте. Узнаю, что наших мужичков из Снагости били при допросе, пугали расстрелом. Значит, не всех так "корректно" допрашивали, как меня (Мне говорили "на Вы", ни разу не

называли "товарищем"). Беседую с Кириллом Дюбиним. Непроницаемый человек. Рассказывает, как он участвовал во Всеукраинском Съезде Советов, но кому сочувствует, не поймешь.

На третий день моего сидения в Брянске к нам привели группу арестованных из Брянской Чрезвычайки. В минувшую ночь чрезвычайка расстреляла 45 заложников, находившихся вместе с ними в тюрьме. Дело в том, что в Москве была подложена бомба в месте заседания центрального комитета коммунистической партии. При ее взрыве было убито и ранено несколько десятков человек. Об этом писали советские газеты ²³. В отместку по России прокатилась волна массового расстрела заложников. В Брянске в качестве заложников держали местных "буржуев", купцев и видных лиц, некоторые из них сидели в тюрьме уже долгие месяцы и совершенно не ожидали того, что с ними случилось. "Среди расстрелянных был один местный богатый человек", рассказывал нам, весь потрясенный, один из переведенных к нам из чрезвычайки, "такой жизнерадостный, всегда бодрый. Он утешал и успокаивал всех нас: Не бойтесь, ничего с нами не будет, все пройдет, все мы благополучно вернемся домой. Так он говорил нам накануне вечером, а ночью его с другим неожиданно забрали и расстреляли. Так ужасно думать, что тот, с которым вы вчера разговаривали, сегодня мертв, расстрелян". Известие о расстрелах потрясает и нас. Я начинаю думать, как бы массовый террор не перекинулся на нас и нас также начнут расстреливать без разбора. Говорю о моих опасениях одному из заключенных. Реакция получилась для меня довольно неожиданная: "Да что тут общего? Там буржуи, контр-революционеры, а мы советские служащие. Что тех расстреляли, это правильно, хорошо, так им и надо, на нас это не может отразиться. Нас не обвиняют в контр-революции".

23. "Правда" от 26 сентября. По ее данным бомба была брошена вечером 12/25 сентября. В числе убитых коммунистов был старый большевик Загорев, а его "честь" Троице-Сергиев посад был переименован в Загорск. По советским газетам в связи с брошенной бомбой в Москве было расстреляно свыше 60 "контр-революционеров", преимущественно кадет (братья Астровы и другие), военных и даже женщин "шпионов".

Так прошло три дня. Читаю московские газеты, их можно заказывать вместе с продуктами на базаре. Вижу у белых большие успехи на Львовско-Дмитриевском фронте. Продвигаются вперед. Если будет так продолжаться, они займут скоро Дмитриев и место моей командировки, село Селино, это осложнит мое положение. У меня снова подавленное настроение. В лучшем случае, думаю я, сделают запрос в Москву, проверить мои документы и действительно ли я был командирован. Москва запросит Весьегонск, дело пойдет от инстанции к инстанции, все это продолжится не мало недель, придется все это время просидеть в Особом Отделе, даже если все окончится благополучно. И крах всего моего предприятия ухода к белым. А в худшем, меня здесь в ближайшие дни расстреляют. И это самое вероятное. В таких мыслях я пребывал тогда и потому для меня было неожиданностью, когда на следующее утро, на пятый день моего сидения в Брянске, 16 сентября, меня вызывают на допрос. Опять ведут по разным лестницам и закоулкам и приводят в комнату, где за столом сидит человек лет сорока пяти с красным одутловатым лицом. На нем военный китель. Видно, более важный чем мой первый следователь. Сажусь перед ним на стул. Вижу, что на столе у него мои документы и карта, которую он, как будто, рассматривает. Пытаюсь объяснить ему, что я купил карту в Дмитриеве итд., но он меня прерывает: "Оставьте, карта не имеет никакого значения. Мы рассмотрели Ваше дело и видим, что Вы были арестованы без всякой причины, неосновательно. Прошу Вас, не обижайтесь на нас. Вы знаете, наши красноармейцы на фронте возбуждены, волнуются, раздражены. Это понятно, но на нас Вы не сердитесь. Как говорится по пословице: От сумы и от тюрьмы не отрекайся! Сегодня Вы будете свободны". Я не верю своим ушам. Что это действительно или сон? Стараясь быть сдержанным и говорю: "Раз все благополучно кончается, сердиться не буду, но красноармейцы на фронте действительно выходят из себя". Откланиваюсь и ухожу в сопровождении караульного. Как говорится: "лечу на крыльях ветра". Возвращаясь в нашу общую камеру и в первый момент ничего не рассказываю о происшедшем. Через некоторое время опять назначают меня места пол. "Меня сегодня выпускают", возражаю я. "Ну так что ж", отвечает караульный начальник, как будто даже обрадованный от моих слов, "выпускают вечером, а сейчас есть время". Иду, мету с усердием

напоследок, возвращаюсь. Мои слова о выходе на свободу вызывают сенсацию. Одни радуются, сочувствуют. Другие завидуют, удивляются: "Как такого явного шпиона с картой освобождают прежде всех, а мы сидим?" Некоторые, как мне становится известным, собирались даже подать письменный протест по этому поводу тюремному начальству. Хожу по залу и думаю: Как это могло быть? Правда, против меня не было формальных улик, ни даже обвинения, но так освободить, не наведя справки в Москве, невероятно! А за три дня навести справки при тогдашнем развале сообщений и всеобщем хаосе, они, конечно, не могли. Так поверили на слово. И как никому из красных, будь то "кубанцы" будь то следователи, не пришло в голову, что я хочу перейти к белым и ради этого предпринял все мое путешествие, а вместо того они подозревали, что я белый шпион, засланный к ним белыми, что было фактически неверно и для чего, конечно, не могло быть доказательств. Что "кубанцы" так думали, еще можно понять, но как следователям из Особого Отдела не пришла в голову такая мысль? (Ведь, если бы пришла, то они стали бы меня по этой линии допрашивать). Единственное объяснение: в управлении Брянского Особого Отдела засели тайные белогвардейцы и они меня освободили (В советских газетах за месяц до этого писалось, что белогвардейцы проникли в Курскую чрезвычайку, помогали там контр-революционерам, но потом были раскрыты). Может быть и в здешнем Особом Отделе? Нет, невероятно! Часы проходят, но никто за мною не приходит. Начинаю нервничать, волноваться от нетерпения. Неужто меня обманули? В пять часов меня, однако, вызывают. Наскоро прощаюсь с о. Павлом, обнимаемся. Карательный ведет меня по зданию в одну комнату, другая чем та, где меня допрашивали. Долго там жду один. Начинает темнеть. Наконец приходит служащий, зажигает свет, долго выписывает меня из толстой книги. "Прошу дать мне свидетельство", говорю я ему, "что я был арестован без основания, просидел две недели, освобожден и могу сейчас ехать продолжать мою командировку". Служащий настукивает на машинке свидетельство. Вот его приблизительный текст: Такой-то был арестован такого-то числа, освобожден Особым Отделом 14-ой армии по отсутствию состава преступления. Разрешается ему поездка в Дмитриев для исполнения служебных обязанностей. Мне возвращают мои документы в том числе и карту. Я не хочу ее брать. "Она мне не нужна", говорю

я. — "Нет, она Ваша, берите!", отвечает служащий. Чтобы не заводить спора, беру. Возвращают и отобранные деньги, но вместо пятисот (или приблизительно) керенками дают на эту сумму облигацию займа Временного Правительства, ничего не стоющую. Я мог бы протестовать, но молчу, чтобы на одну минуту не задерживать выход из тюрьмы. Караульный ведет меня на тюремный двор к выходу. Там один из красных офицеров бронепоезда (тот, кто особенно лихо отплясывал чичетку), сейчас он под надзором исполняет какую-то работу, не то рубит дрова не то выносит баки, не помню. Увидев, что меня выводят, говорит без злобы, а скорее с грустью и сочувствием: "Эх, бивают же на свете счастливые люди!". Меня подводят к воротам, караульный не идет дальше. Прохожу мимо часового, который не обращает на меня внимания. Я на свободе.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СНОВА НА ЮГ!

Казак на север держит путь,
Казак не хочет отдохнуть.

Пушкин. Полтава

Вместо "север" нужно читать "юг"

Снаружи, за воротами тюрьмы, ночь, дождь, ветер. Холодно. Мелькает мысль: бросить все, устал, вернуться в Москву, в Весеьгонск. Там, по крайней мере, в помещениях тепло. Мигновение малодушия, однако, сразу проходит и сменяется твердой решимостью: сейчас, немедленно продолжать свой путь на Юг, к белым! Быстрыми шагами направляюсь к вокзалу, до которого, как узнаю от встретившегося прохожего, три версты. Но нужно раньше избавиться от этой злосчастной карты. Рву ее на мелкие куски и бросаю в канаву. Продолжаю по каким-то пустырям, под ветром и дождем, двигаться к вокзалу. Вскоре в ночной тьме вижу его огни. На станции на путях стоит поезд. Думая, что он идет на юг, влезаю в освещенный классный вагон. Много народу, шумно. Публика с вещами, скорее интеллигентная, не мужики. "Пожалуйста, пожалуйста!", говорят мне, "вместе поедем до Москвы. Будет веселее!" - "Как до Москвы? Разве поезд идет в Москву?", спрашиваю я. "Да, конечно, куда же иначе". Оказывается, поезд везет в Москву советских служащих и коммунистов, эвакуируемых с юга ввиду наступления белых. Опять приходит мысль: остаться в теплом и освещенном вагоне и поехать в Москву, но я отбрасываю соблазн и говорю, что у меня командировка и я еду в противоположном направлении на Дмитриев. Все удивляются, как это так, всех оттуда эвакуируют, поезда кроме воинских туда не ходят, а я хочу туда ехать. Во избежание лишних вопросов поскорее ухожу из вагона. Выясняю, что, действительно в южном направлении поезда не ходят кроме воинских эшелонов, но на них посторонних не берут, даже с командировками. Нахожу все же воинский эшелон, теплушки с красноармейцами. Обращаюсь к какому-то начальнику, объясняю, что у меня срочная командировка, прошу пустить

на эшелон. Отказывается: строго запрещено брать с собой посторонних. Эшелон должен сейчас двигаться. Что делать? Но тут вижу, что двое, на вид рабочих или железнодорожников, забираются на буфера между вагонами. Забираюсь и я. Эшелон двигается. Еду на буфере. Навстречу хлещет ледяной ветер, дождь бьет в лицо. Замерзаю, особенно руки, еле держусь на буфере, когда же кончится это мучение. Через два-три часа поезд останавливается на разъезде. Слезая с буфера, так ехать дальше невозможно. Влезаю в первую попавшуюся теплушку, где немного людей. Красноармейцы мало обращают на меня внимания, ничего не спрашивают. Поезд долго стоит, потом движется дальше. Так я еду и впредь, влезаю в теплушку с красноармейцами, никого не спрашивая, и меня также никто не спрашивает. Вижу по надписям на вагонах, что эшелоны перебрасывают войска с эстонского фронта через Брянск на юг в направлении на Дмитриев. Незадолго до того большевики заключили перемирие с Эстонией и, очевидно, стали перебрасывать освободившиеся войска на юг против Деникина ²⁴. Одноколейка Брянск-Дмитриев-Льгов была забита воинскими поездами, так что когда эшелон подходил к разъезду, там уже пол сутки стоял другой эшелон, который затем уходил первым. Я это понял и потому, чтобы ускорить путешествие, пересаживался на скорее уходящий эшелон. Таким образом мне пришлось переменить три-четыре эшелона, каждый раз залезать без спроса в теплушки с красноармейцами. Никто, однако, меня ни о чем не спрашивал и в разговоры со мною не вступал. Красноармейцы были эстонцы и латыши, народ, как мне показалось, мрачный и неразговорчивый. Между собою они говорили на своем языке. Так я и ехал, пересаживаясь с эшелона на эшелон, но все же ожидая по много часов на каждом разъезде, когда эшелон двинется дальше.

Главная проблема была, чем питаться? Красноармейцам выдавали хлеб, они получали горячий обед из походной кухни, ходили за ним в вагон, где кухня помещалась и приносили к себе

24. О переброске в это время на Южный фронт латышских и эстонских частей свидетельствуют советские историки. Так, они пишут, например, о переброске латышской дивизии Мартусевича, о эстонской стрелковой дивизии (около 3 тысяч штыков) и тд. (Гражданская война БСЭ, 3-ье изд. т.8).

в котелках. Конечно, это происходило, когда эшелон стоял на разъездах. Но мне просить самому у них, хотя бы хлеба, опасно, сразу обратиться на себя внимание. Замечаю, что когда красноармейцы посят в своих котелках суп в свои теплушки, у них выплескиваются картофелины на землю. Хожу взад и вперед по платформе, подбираю их и ем, но чтобы насытиться, это недостаточно. На третий день, 18 сентября, подъезжаем с утра к станции Брасово. Выясняется, что до вечера поезд дальше не пойдет. Иду в близ лежащую деревню, может быть удастся достать хлеба. Вхожу в один из домов, спрашиваю хозяйку, нельзя ли купить хлеба. Она дает мне большой ломоть и говорит: "Да ведь вам уже раздали всем хлеба". Она принимает меня за красноармейца, ими полна деревня, они расквартированы по домам. "Нет, мне не раздавали", стараюсь объяснить ей, "я железнодорожник, в командировке". — "А вот и мой постоялец возвращается" (она имеет в виду расквартированного у нее красноармейца), "такой говорун". Поспешно ухожу, но при выходе наткнулся на него. — "А, товарищ, какой роты?", спрашивает он меня. "Нет, я железнодорожник", бурчу я в ответ и поспешно ухожу. На станции знакомлюсь с довольно неопределенной личностью, вероятно, какой-то служащий, одет в шинель. Разговорчивый. Выясняется, что он из под Дмитриева, там, где сейчас по близости фронт, возвращается к себе, не знает, как удастся, готов идти хоть пешком. Словом, намерения сходные с моими. Думаю даже сговориться идти вместе с ним, он знает местность, но воздерживаюсь. Под вечер выходим с ним прогуляться вдоль железной дороги, широкая проселочная дорога идет рядом с ней. Проходим сажень сто до шлагбаума, где эта дорога пересекает железную. Оттуда с запада навстречу нам ехал обоз. Мы остановились. Шедший рядом с передней подводой военный, увидев меня, сказал: "А ты как здесь? Тебя ведь арестовали?" Узнаю его, это был тот красный, "унтерского" типа, вместе с которым мы ехали в вагоне из Льгова в Коренево, когда стала слышна канонада. Очевидно, ему стало известно, что меня арестовали. Объясняю ему, что меня арестовали безосновательно, но что Особый Отдел меня выпустил. Показываю бумагу. Читает, ничего не может возразить. "А зачем ты туда идешь, где отступление?" Он показывает на запад, откуда идет обоз. Оттуда доносятся отдаленные раскаты артиллерийской канонады. — "Никуда я не иду, а просто прохаживаюсь перед станцией. Иду поезда" (Это была сухая

правда). "Унтер" уходит с обозом, явно недовольный и неубежденный. "Что он к Вам придрался?", с удивлением спрашивает меня мой знакомый. "Пустяки", отвечаю я, "он дурак, лезет не в свое дело. Я ему показал документы, он и отстал". На станции идет спор между красными и несколькими железнодорожниками. Красные требуют поскорее отправить поезд, а те говорят, что нет паровоза. "Вы, железнодорожники, нам помогать не хотите", говорят красные. "Вы должны понимать, за что мы боремся"—"Да не можем же мы дать паровоза, когда его сейчас нет", отвечает железнодорожник. И немного помолчав: "А за что идет война, мы понимаем". Наконец, поздно вечером, наш эшелон трогается. Забираюсь в теплушку и засыпаю.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

САМЫЙ ДОЛГИЙ ДЕНЬ

19 сентября 1919 года

Господи, я верую,
 Но введи в свой рай,
 Дождевыми стрелами
 Мой пронзенный край!

Есенин

На рассвете эшелон подошел к последнему разъезду между станциями Комаричи и Дерюгино и стал разгружаться. Красноармейцы повывлезади из своих теплушек. Быстро были разгружены разные повозки, были ли разгружены орудия, не помню. Вскоре весь отряд покинул полустанок и двинулся в восточном направлении в соседнюю деревню. Я тоже вылез из теплушки. На полустанке обсуждают: "Как быстро и в каком порядке эти латыши выгрузились и двинулись дальше. Не то, что наши!". Выясняется, что никаких поездов далее на юг не предвидится. Значит, нужно идти пешком к Дмитриеву, решаю я, ждать бессмысленно и опасно. До ближайшей станции, Дерюгино, десять верст, а оттуда до Дмитриева еще верст пятнадцать. Быстро шагаю по шпалам. Ни души. С обеих сторон железной дороги желто-золотистый осенний лес. Ночью был сильный заморозок, вся трава белая, побелели и листья на деревьях, но под лучами восшедшего солнца иней скоро исчезает. После стольких дней дождя и ветра опять чудная солнечная погода. Тем лучше. Меня обгоняют, на небольшом расстоянии друг от друга, два паровоза с одним товарным вагоном за каждым из них. Что-то везут, потом выяснилось — снаряды. Подхожу к Дерюгино. На станции и еще более на площади перед ней группы красноармейцев, в общем, человек около ста. Одни сидят, другие ходят, видно, ждут отправки куда-нибудь. Вижу, что обогнавшие меня паровозы со снарядами готовятся к отъезду. Двое подростков, вероятно, местные жители, вскакивают на буфера тендера, между ним и вагоном. Вскрываю за ними и я. Паровоз двигается по направлению к Дмитриеву. От быстрой езды вагон со снарядами так трясет, что у ехавших в нем двух вооруженных красноармейцев возникает паника, как бы снаряды не взорвались. Кричат машини-

сту, тот уменьшает ход. Паровоз подходит к Дмитриеву и снова замедляет ход. С буферов на ходу, прежде чем доехали до станции, соскакивают оба подростка, вслед за ними и я. Не хочу попадаться на глаза на самой станции, там, может быть, контроль, скажут, зачем едешь на паровозе со снарядами, кто такой? На самой станции, куда я подхожу, никто не обращает на меня внимания. На станции мало народу, на путях тоже не видно составов. Исчез и агитационный пункт на вокзале. Впечатление — все эвакуировано. Направляюсь сразу в дом М. У меня план: остановиться у него пока не придут белые, во всяком случае выяснить обстановку. Встречают меня не особенно радостно. Они в большом страхе. "Ужас, что делается", говорит мне М. и его мать, "фронт рядом, вчера белые наступали в восьми верстах южнее Дмитриева около хутора Михайловского. Правда, они потом отошли, но можно ожидать возобновления боев. В городе красноармейцы и днем и ночью врываются в дома, у нас уже были несколько раз, производят обыски, грабят, арестуют. Вам здесь оставаться невозможно, придут, схватят, да и нас тоже!"; Оказывается М., в своей поездке вместе с К. (разочаровавшимся коммунистом) видел, как меня везли арестованного (я их не заметил). Я ему объясняю, что меня отпустили и что у меня есть нужные, подтверждающие это, документы. "Все равно", говорит М., "здесь Вам оставаться невозможно. Идите лучше всего в Селино, куда Вы командированы. Там Вы сможете остановиться у П., он Вам поможет". Одним словом, выставляют из дому, но ничего не поделаешь, спорить не приходится. Ухожу. Мать М. догоняет меня и дает мне ломоть хлеба. Вид у нее сконфуженный. Итти днем в Селино, верст 20-25 к северозападу, как я думал, от Дмитриева, мне крайне не нравится. Хотя не в сторону фронта, но скорее параллельно, может быть дальше от него ²⁵, но я по опыту знаю, как опасно ходить днем вблизи фронта. Но другого

25. Это было неверно. Я не мог знать, что в это утро отряд Первого Дроздовского полка под командой полковника (впоследствии генерала) А. В. Туркула начал наступление на Дмитриев с запада, по тылам красных, вдоль большой дороги Севск-Дмитриев. Так что в действительности мне предстояло итти не параллельно фронту, а прямо навстречу наступающим белым.

выбора нет! ²⁶. Пересекаю близ станции железнодорожную линию и беру большую дорогу на Севск, в западном направлении. Хитрый мужиченко с русой бороденкой слащавым голосом беседует с красным военным (они стоят у подводы): "Уж мы понимаем почему вся эта война ведется. Белая кость и черная кость, ясное дело. И все из за земли. Им бы всем по каждой косточке поломать!". Вижу далее, что телеграфные столбы подрублены близ основания. Мне неясно почему, но я предполагаю, что сами красные это сделали в ожидании отступления, дабы телеграф не достался белым. Но встретившийся красноармеец понимает иначе: "Кто это саботажничает, поймать бы и расстрелять". Я прошел только немного, как налево от меня, то есть к югу, слышится артиллерийская стрельба. Видно, как на железнодорожной линии от Дмитриева на Льгов бронепоезд, в верстах трех-четырёх от меня, ведет бой. Видны дымки разрывов, слышны выстрелы орудий. Трудно точно разобраться, но вероятнее всего, что красный бронепоезд обстреливает наступающих белых ²⁷. Иду дальше, оставляю бронепоезд несколько позади. Мне совсем не хочется быть слишком близко от фронта. Через немного минут такая картина: красный всадник, с диким выражением и перекошенным лицом, с винтовкой на перевес, быстрой рысью едет мне навстречу по полю, параллельно дороге и в десяти сажнях от нее, потом круто поворачивает направо коня под прямым углом и едет на юг, приблизительно туда, где стреляет бронепоезд. За ним появляется другой всадник, тоже с винтовкой на перевес, с таким же диким лицом, подъезжает также рысью и также круто поворачивает направо и едет к югу, оставляя между собою и

26. В тот же вечер 19 сентября Дмитриев был занят после сильного боя отрядом полковника Туркула. Так что, как будто было бы лучше, если бы я прождал еще немного часов в Дмитриеве до прихода белых, а не пошел на Селино. Но кто мог наверняка предвидеть, что белые придут так скоро? Да и в самом Дмитриеве риск ареста был почти неменьшим. А главное, как я сказал, у меня не было выбора: меня выгоняли из дома. Не на улице же мне было дожидаться белых?
27. Это был Самурский полк Дроздовской дивизии, наступавший на Дмитриев с юга, но наступление его задерживалось (См: Туркул стр. 117 и 121).

первым всадником расстояние сажень в пятьдесят ²⁸. За ним еще несколько всадников, всего пять-шесть, проделывают тоже самое. На меня, идущего по дороге, они не обращают никакого внимания, даже не смотрят. Что это такое?, думаю я. Вероятно, красные, своего рода конной цепью, атакуют белых. Но, значит, я попал на самый фронт. Или совсем рядом с ним. Меня охватывает ужас: это безумие, так итти среди бела дня у самого фронта, но что делать? В Дмитриев возврата нет, там меня не пустили в дом, а впереди все же Селино, я туда именно командирован, есть документы и там знакомый П., может дать прибежище. Иду дальше. Навстречу идет красноармеец с винтовкой, спрашивает: "Какой части?", отвечаю: "Железнодорожник, у меня командировка". Даю ему документы. Молча просматривает их, возвращает, ничего не говорит. Не настаивает больше, проходит. Но следующий попавшийся, тоже вооруженный, красноармеец оказался более трудным. Не удовлетворяется документами, продолжает упорно допрашивать: "Кто ты такой? Что делаешь у самого фронта, какая там командировка?". Препираюсь с ним. "Твое счастье", говорит он наконец, "что у меня нет времени с тобой возиться, а то бы я проверил, кто ты такой". Продолжаю итти, но с чувством какой-то обреченности. Вопреки разуму какая-то сила толкает меня вперед. Молюсь, но хорошенько не умею. В голове стихи Есенина, поставленные мною эпиграфом этой главы: "Господи, я верую, но введи в Твой рай, дождевыми стрелами мой пронзенный край". "Край", пронзенный дождевыми стрелами, это Россия, а "рай" это страна белых. Избавление. Ощущаю голод и собирая на полях близ дороги сырую картошку, набиваю ей карманы непромокаемого плаща. Но увы, насколько была вкусна картошка, выпадавшая из котелков красноармейцев, настолько несъедобна сырая картошка. Едкая, твердая, невозможно проглотить. Все же сохраняю ее на всякий случай.

Подхожу без особых происшествий после полудня к деревне Кузнецовка, верстах в десяти от Дмитриева, откуда я вышел. В деревне множество красноармейцев. Толпятся на улице в беспорядке.

28. Несомненно, это были "красные кубанцы" ("червонные"), но тогда мне это не пришло в голову. Я не мог себе представить, что они переброшены на этот участок фронта.

рядке. Полно подвод, они движутся, как будто, в мою сторону, то есть к Дмитриеву. Подходит ко мне красноармеец, принимает за своего. "Случилась... (неприличное ругательство)", говорит он мне. — "А что?" — "Отступление, как видишь"²⁹. Я этому, естественно, рад. Отчасти, чтобы переждать волну отступающих — я думал, что она пройдет быстро, отчасти, чтобы добыть пищу, захожу в один из домов на главной улице. Хозяин, крестьянин лет сорока пяти несколько городского типа, встречает любезно: "Заходите, заходите!". Спрашиваю, нельзя ли у него купить хлеба. "Купить нельзя, а я Вам так дам". Любопытствует, кто я такой? Отвечаю: "Железнодорожник" итд. Чувствуется, что хозяин мало верит, понимает, что имеет дело не с красным, но прямо ничего не говорит. Жалуются на насилия и произвол "красных кубанцев". От них стонет все местное население. Грабят, насильничают, убивают. На днях они зверски убили одного студента, жителя близлежащего села. Он был оттуда родом. Его и до этого кубанцы притесняли, грозили арестовать, подозревали. Он решил бежать к белым, но кубанцы его поймали. Жители умоляли его пощадить, заступались за него, говорили, что он хороший и нужный им человек. Ручались за него, но кубанцы его зверски зарубили. Отрубили пальцы, ноги, долго мучили. "Это не люди, а звери", говорил хозяин, "не дай Бог им в руки попасться. А другие красноармейцы, мобилизованные, не так, но зато они и не сражаются по настоящему, а на кубанцах весь фронт держится". Беседую с крестьянином около часа, нужно уходить, да он дольше и не удерживает. Может быть, если бы я попросил его скрыться у него, он бы и согласился, но я не решился это сделать, тем более, что у меня была надежда найти пристанище в Селине. Продолжаю идти в том же направлении. Вскоре по выходе из

29. Вышедший с утра этого дня, 19 сентября, из Севска отряд полковника Туркула в составе Первого Дроздовского полка с приданными ему "легкой и гаубичной батареями" "пошел по красным тылам с задачей захватить Дмитриев", что ему и удалось сделать к вечеру (См: прим. 26). У села Доброводье на большаке Севск-Дмитриев, верстах в 30 к северо-западу от Кузнецовки, он нанес жестокое поражение атаковавшим его "красным кубанцам", что вызвало общее отступление красных на этом участке фронта. Яркое описание этого рейда полк. Туркула по тылам красных в его книге стр. 117-121. Некоторые подробности у Кравченко стр. 285-289.

деревни навстречу мне движется целый поток отступающих красноармейцев, одни идут пешком, большинство едет на подводах. Все с винтовками. На меня не обращают внимания, но я понимаю, как опасно идти навстречу отступающей армии, то есть в сторону врага, да еще по большой дороге. Сворачиваю от дороги налево и иду прямо по полю в том же направлении, саженьях в ста от дороги (уклониться далее налево мне казалось трудным, там были какие-то плетни). Вскоре понимаю, что так идти, в ста саженьях от дороги, не только бессмысленно, но еще хуже. С дороги меня прекрасно видно, а то, что человек идет не по дороге, только более подозрительно. Возвращаюсь снова на дорогу.

Через некоторое время, было, вероятно, три или четыре часа пополудни, вижу, как навстречу мне движется значительная группа всадников, чернеют на дороге передо мною. Едут шагом. По близорукости плохо их различаю, как вдруг, уже на недалеком расстоянии, от них отделяются два-три всадника (ясно вижу, как один из них прихлестывает коня) и устремляются на меня с криком: "Вот он! Вот он опять!". За ними устремляются другие и окружают меня. Оказывается, это те самые "красные кубанцы", которые, более двух недель тому назад и в местности отстоящей на сто верст отсюда, задержали меня в Снагости³⁰. Сейчас они узнали меня раньше, чем я их. Они в ярости. Один ударяет меня по голове нагайкой, другой бьет меня больно коленкой. "Как у нас отступление, так он всегда здесь! Шпион! У него карта. И документы спрятал и деньги в подтяжки зашил!" Я энергично отбиваюсь: "Какая карта, никакой карты у меня нет, а документы, вот! Сказано в них, что был арестован неправильно, послан в командировку, читайте!" Даю им документы. Обискивают меня, ищут карту, оружие. Конечно, их не находят, но обнаруживают картошку в карманах. Новый взрыв ярости: "Бродяга! Картошки набрал, чтобы было чем питаться в дороге. Шпион!" Среди окружающих меня всадников бледный молодой человек с интеллигентным лицом, в студенческой фуражке. Видно, что ему хотелось бы меня защитить, но не смеет. Молчит. Ему дают читать документы, но "красные ку-

30. Выходит, что я встретился с "кубанцами" всего через несколько часов после разгрома их бригады под Доброводьем. Сейчас они отступали к Дмитриеву.

банцы" не успокаиваются. "Мы тебя сейчас расстреляем", кричат они. "Как сейчас?", сопротивляюсь я, "нужно сначала произвести расследование, я послан в командировку". Никакого впечатления: "Нет, мы тебя сейчас здесь расстреляем", продолжают кричать "кубанцы". Меня охватывает животный страх близкой смерти, сейчас через несколько минут. Красные это замечают и начинают издеваться: "Иш, подлюга, испугался. Бойтся! Не хочет помирать, а шпионит!" Я стараюсь взять себя в руки. В это время слышу, как "красные кубанцы" говорят между собой: "Командир полка! Командир полка!". Оказывается, что командир первого красного кубанского полка проезжает мимо и, узнав о случившемся, приказывает привести меня к себе. Меня подводят к нему, кубанцы куда-то исчезают. Командир, а рядом с ним полковой комиссар, едут в экипаже. Командир слева, комиссар справа. Комиссар, человек средних лет, темноволосый, как обычно в черном кителе или куртке. Командир, если только память меня не обманывает, в штатском. Лет пятидесяти, толстое, оплывшее "дворянское" лицо, сам полный. Ему дают мои документы. Не взглянув на них, он молча передает их комиссару. Тот просматривает их и говорит: "Документы в порядке". Командир, смотря перед собою, цедит сквозь зубы: "Отведите в штаб бригады!" А затем добавляет: "Он там, впереди, в леску". Я взволнованно говорю командиру: "Да меня кубанцы убьют по дороге" - "Нет, отвечает он, не смотря на меня, "я им приказал уезжать. Вас будет конвоировать красноармеец" ³¹.

Под конвоем конного красноармейца, добродушного

31. Кто был этот красный командир, я не знаю, но о его дальнейшей судьбе можно узнать из той же книги ген. Туркула. Описывая события этого дня - рейд Дроздовцев по тылам красных и взятие ими в тот же вечер 19 сентября города Дмитриева, Туркул пишет: "Дмитриев был наш. Всю ночь сторожевое охранение на мостах брало в плен одиночек и отступавшие роты. Красные толком не знали, кто в Дмитриеве, и принимали белых за красных... На рассвете в рессорной бричке вкатил на мост какой-то красный командир. Он заметил наши погоны, выпрыгнул из экипажа. Выстрел уложил его на бегу. Пуля, как раз над сердцем, пробила его бумажник, полный царских денег" (Туркул стр. 121). Все данные за то, что это тот же "командир", встреченный мною за несколько часов между Кузнецевкой и Фатеевкой верстах в 15 от Дмитриева. То же на рессорном экипаже и ехал в том же направлении в Дмитриев с Запада. Вряд ли могло найтись двое "командиров" с такими сходными "подробностями".

белобрисого малого, меня ведут по дороге вперед, навстречу отступающим на подводах красным. Их много, подводы тянутся длинной линией. Красные, видя меня, кричат с подвод: "Деникинец! Вот деникинца поймали! Ну теперь размен! Сейчас в расход выведут. В штаб Духонина!" (На большевицком жаргоне все эти выражения означают расстрел). Мы продолжаем двигаться вперед. Вместе с нами движется обоз со снарядами (на крестьянских подводах, мужики за возниц). Мы в голове обоза. Сворачиваем на проселочную дорогу влево, но в общем продолжаем двигаться в том же направлении. Это меня удивляет: неужто штаб бригады находится ближе к фронту, чем отступающая в противоположном нам направлении масса красноармейцев? И почему везут снаряды тоже в противоположном отступлению направлении? ³². Впрочем, по проселочной дороге, на которую мы свернули, отступающие красные нам более навстречу не попадают. Мирно беседую с конвоиром. "Это хорошо", говорит он, "что Вы избавились от этих разбойников. Хулиганы! Для них человека расстрелять, все равно, что стакан воды выпить!" - "А что теперь будет в штабе бригады?", спрашиваю я. "Да ничего, отправят в тыл для расследования". Это мне совсем не нравится, но все же лучше "кубанцев". Вдруг, совершенно неожиданно, буквально над нашими головами, со свистом пролетает снаряд и сразу за ним другой. Через минуту еще два и затем опять два. Нас обдаёт ветром снарядов. Стреляют нам навстречу из места, куда мы едем, не видно кто ³³. При первом же снаряде обоз круто поворачивает назад, так круто, что лошади подвод становятся почти дыбом, и обоз мчится без дороги по полю в обратном направлении, убегая от выстрелов. Поражительная картина, врезалась в памяти. Мой конвоир, подхлестнув ло-

32. Думаю, что это объясняется хаосом, создавшимся в рядах красных из-за рейда полковника Туркула, когда все перепуталось и никто не знал, где белые, впереди или сзади.

33. Сейчас для меня несомненно, что стреляли батареи отряда полк. Туркула, действовавшего в тылу красных. Туркул обгонял отступающих красных и шел впереди их на Дмитриев. Вот, что он сам пишет: "Точно сильная буря гнала нас без отдыха вперед. От Доброводья мы пошли по тылам красных. Повернули на Дмитриев. Красные пробовали пробиться сквозь отряд, а потом начали отступать. Они шли, куда и мы, на Дмитриев. На спине противника мы, что называется, лезли в самое пекло: под Дмитриевым у красных были большие силы, бронепоезда. Движение до крайности опасное" (Туркул стр. 288-289).

шадь, рысью поехал вслед за обозом, даже не обернувшись на меня. И я побежал было за ним по какому-то чувству "лояльности" и безопасности. Ведь он все же лучше "красных кубанцев", у него все мои документы, бессознательно не хотелось новым бегством ставить себя на "незаконное" положение. Но я тут же одумался: ведь не обязан я, пеший, бежать за конным конвоиром, никто не может мне поставить в вину, что я за ним не угнался. Я перестал бежать, пошел шагом, а через минуту мысль: не глупо ли, не бессмысленно ли идти в том направлении, куда убежали красные. И я повернулся кругом и побежал, а потом пошел по полю в направлении, откуда стреляли. Только сейчас я вполне осознал случившееся, как я действительно чудом освободился от красных, ведь мой арест у них мог иметь самые тяжелые последствия. Продолжаю идти. Вдруг, откуда-то не возьмись, вероятно из за плетней в конце поля, выскакивает красноармеец с диким выражением лица и таким же взглядом, с винтовкой в обеих руках, останавливается, как вкопанный, предо мною и кричит: "Кто такой? Куда бежишь? Зачем сюда?" (то есть в направлении к предполагаемым белым). Отвечаю: "Железнодорожник, с обоза, который обстреляли, иду в Селино, куда командирован" (про арест и бегство, конечно, ни слова). "А почему сюда бежишь", не успокаивается красный и становится все агрессивнее. В эту минуту над нашими головами, со свистом и обдавая нас ветром, летит снаряд и вслед за ним другой. При первом снаряде красноармеец падает на землю (я тоже), после второго он вскакивает и стремглав бежит туда, куда скрылся обоз. Я тоже бегу, но в противоположную сторону, туда, куда шел до этого. Стрельба прекращается. Тишина. Вообще, за сегодняшний день, кроме боя бронепоезда под Дмитриевым и обстрела обоза, артиллерийской стрельбы не было слышно несмотря на явную близость фронта. Белые, обстрелявшие обоз, тоже куда-то исчезли. Их не видно.

Иду дальше и скоро вхожу в деревню. ³⁴ Пустынно, никого на улице, только на центральном перекрестке встречаю человека в черном плаще и городской шляпе, на вид сельский учитель. Обращаюсь к нему: "Скажите, пожалуйста, какие здесь войска, красные или белые?" — "Простите, мы мирные жители", испуганно отвечает он. Очевидно, он не знает, с кем имеет дело, с белым или красным. Я продолжаю спрашивать, но он все повторяет: "Простите, мы мирные жители!" — "Да есть ли, вообще, войска в деревне?", продолжаю настаивать я. С трудом добиваюсь от него,

34. Это была Фатеевка, как я узнал впоследствии.

что сейчас двое вооруженных прошли по улице и свернули за угол направо. "А где дорога на Селино?", продолжая спрашивать я. Он что-то промчал в ответ и указал туда, куда, как он только-что сказал, пошли двое военных (то есть в юго-западном направлении). Он был совершенно прав, но я ему не поверил, это показалось мне невероятным, настолько укрепилось во мне ложное представление о местонахождении Селина. Да и какое-то чувство говорит мне не идти догонять этих двух, кто знает, может быть, они красные. Обдумываю положение и решаю идти туда, где, как я думал, находится Селино. До него свыше десяти верст, но туда я командирован (документов, правда, у меня нет, их увез конвоир ³⁵). А главное в Селине у меня было, где остановиться. Поэтому я повернул на дорогу на Селино, как я думал, на Поповкино в действительности, как я выяснил много позже, изучая карту. Выбор этот имел основной недостаток, который я скоро почувствовал: дорога шла в северо-западном направлении, а белые должны быть скорее к югу. Итак, я прошел несколько верст по дороге, сам не зная в каком я районе, у белых или у красных. Надеюсь, что у белых, ведь красные отступили. Навстречу мне едет всадник. Культурное лицо, хорошая шинель, сразу видно, что офицер, но к ужасу моему на его фуражке вижу красную звезду! "Какой части?", спрашивает он меня, приостановив коня. "Я железнодорожник", отвечаю по обыкновению. "Нет, какой части, то есть полка, роты итд.", продолжает спрашивать всадник. Объясняю, что я командированный, а сейчас был в обозе, на который было произведено нападение. Это его удовлетворяет. Он, видимо, слышал о нападении на обоз. "А куда Вы сейчас идете?"—"В Селино", отвечаю я.—"Куда? Это где?"—"Да это следующее село. Туда можно идти?"—"Можно, там стоят наши три полка". Всадник едет дальше, не спросив у меня никаких документов. Вслед за ним в ста сажнях едет подвода. На ней сидят два красноармейца с винтовками вверх в руках. Проезжают мимо меня, пристально смотрят, но ничего не спрашивают. Видно, они видели, что меня уже опросил красный офицер и потому больше ни о чем не спрашивают. Проезжают. В отдале-

35. Интересно, что он с ними сделал? Передал ли в штаб и сказал, что я убежал или просто выбросил их и ничего о мне не сказал? Этот вопрос я часто задавал себе впоследствии.

нии вижу еще подводу, на ней тоже двое красноармейцев с винтовками, едут сюда. (Вероятно, все они совершали разведку, выясняли кем занята местность, где белые ³⁶). Дальше так идти невозможно, допросят и арестуют. Простому красноармейцу труднее объяснить чем офицеру, что я послан в командировку, тем более, что документов нет. Направо от дороги, в расстоянии пол версты, лесок. Сворачиваю с дороги на виду у последней подводки и направляюсь к леску. Опасаюсь, что красноармейцы с подводки меня окликнут, но этого не случается и я укрываюсь в леску ³⁷. Чтобы быть менее заметным, ложусь на землю под деревьями. На опушке слышны мужские голоса, но никто меня не беспокоит. Сейчас пять часов, через час стемнеет. Подожду в лесу темноты, а там пойду на юг к белым.

Через час, действительно, стемнело. Чудный солнечный, даже жаркий день сменился безоблачной ночью. Руководствуясь полярною звездой, двигаюсь прямо по полю в южном направлении. Но беда, луна так ярко светит, что человека легко различить на расстоянии (впрочем, никто мне не попадает на пути). Как говорится: "Светло, как днем". Итти так дальше опасно. Соображаю, что луна должна зайти через два часа и решаю обождать. Ложусь на поле за какой-то кочкой, там тепло, приятно, ветер не дует. Сразу засыпаю от усталости. Просыпаюсь в половине девятого. Луна зашла, на небе множество звезд. На основании соображений, где должны находиться белые, беру направление на юго-юго-восток и иду быстрым шагом по полям без дорог. Так как полярная звезда остается за спиной, оборачиваюсь от времени до времени, чтобы проверить по ней, правильно ли я иду. Слава Богу, что небо ясное, звезды видны, а то бы я сбился с пути. Несколько раз, налево и направо, на расстоянии нескольких верст, слышен лай собак. Это деревни ³⁸. Я стараюсь их избегать. Настроение бодрое,

36. По всей вероятности, и те двое военных, о которых мне сказали в Фатеевке, были тоже красные, производившие разведку.

37. Этот лесок отмечен на подробной карте Генерального Штаба (три версты в дюйме). Не в этом ли леску находился перед тем "штаб бригады", куда меня было приказано отвести?

38. Звения и Пушкарево, как я много лет спустя выяснил по карте.

наконец-то я иду прямо к белым, иду свободно и никто меня не останавливает. Неожиданно возникает препятствие. Предо мною канава с водой. Пытаюсь ее обойти, но она все тянется. Наконец, в темноте перебегаю через нее (Как потом узнал, это была речка Береза). Уже далеко за полночь выхожу на дорогу, вокруг деревья. Вдруг, мне кажется, что на дороге стоит человек. Останавливаюсь и замираю: может быть, там красный караульный? А может быть, это только показалось, и там нет никого. На всякий случай, возвращаюсь назад и обхожу место. Подхожу к громадному оврагу, заросшему мелким лесом ³⁹. Спускаюсь на его дно, там в длину оврага проходит дорога, но я ее пересекаю и начинаю подниматься по другому склону оврага сквозь деревья. Весь промокаю от влаги на деревьях. Слава Богу, в эту ночь, в отличие от предыдущей, мороза нет, но все же очень холодно. Уже три часа ночи. Слева, на расстоянии, можно думать, двух-трех верст, начинается громкий птичий концерт: утки, гуси, петухи. Впечатление, что их тысячи. Значит, там большое село. А вслед за тем начинается такой же концерт и прямо предо мною, когда я взбираюсь на противоположный край оврага. Значит, и там деревня. До рассвета я не успею миновать ее, а проходить ее днем опасно. Решаю остановиться и выждать пока не выяснится положение. Ложусь вздремнуть на землю под деревьями около самого верхнего края оврага. Холод мешает заснуть по настоящему, но все ж таки засыпаю, скорее полусном.

39. На подробной карте обозначен как "Дог Лебежий".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

СВОИ!

Проснулся я от стука топора. Вернее, он уже давно мешал мне дремать. Кто-то рубил лес на краю оврага. Был слышен мужской голос и несколько как будто юношеских. Было уже совсем светло. Опять хороший солнечный день. Я побоялся итти к голосам, кто знает, может быть, красные. Я стал размышлять о положении. Ночью я никого не встретил. Никаких признаков фронта по дороге не было. С другой стороны артиллерийской стрельбы с утра не слышно. Дело плохо, думаю я, белые, очевидно так отступили, что их даже не слышно. Правда, часам к десяти утра, послышалась отдаленная канонада в северо-восточном направлении в сторону Дмитриева⁴⁰. Странно, подумал я, стреляют сзади, неужто там белые? Но стрельба скоро прекратилась и я не предал ей большого значения. Рубка леса на опушке тоже давно прекратилась. Было уже порядочно за полдень. Голод все более и более давал себя чувствовать. Я предавался мрачным мыслям. Ждать здесь в лесу до ночи и потом ночью вновь итти на юг, нет сил, ни физических ни душевных, да и как угнаться за белыми, если они в самом деле начнут отступать? С другой стороны, оставаться здесь в лесу не безопасно. Если красные найдут меня здесь, да без документов, будет мне плохо. Остается одно: самому пойти в деревню, явиться в милицию и рассказать, что я был послан в командировку, у меня пропали документы, я ночью заблудился итд. И это было опасно, но все же, если бы я сам явился в милицию, меня не расстреляли бы, но отправили в тыл для расследования. Конечно, это капитуляция, но что делать, ждать дальше голодным неизвестно чего, нет сил!

В таком малодушном и даже "капитулянтском" настроении я вышел из леса. Было, вероятно, часа два дня двадцатого сентября. Вижу крестьянские мальчики, лет восьми-одиннадцати, пасут коней.

40. Это были Самурцы, наступавшие на Дмитриев в это утро с юга, как и в предыдущий день (См: стр. 76 прим. 27). Они не знали, что Дмитриев был взят еще накануне вечером отрядом полк. Туркула, шедшим с запада (Туркул стр. 121).

Подхожу к ним и спрашиваю: "Это что за деревня?". Отвечают: "Меньшиково". Значит, я правильно держал направление, думаю я, и прошел за ночь верст 25-30. - "А что там милиция есть?", продолжаю спрашивать я (Мысль о добровольной явке в милицию меня не оставляет). Мальчишки смотрят на меня как-то странно и бурчат что-то невнятное. "А войска есть?", опять спрашиваю я. "Да, новые пришли". Я сразу настораживаюсь: "Какие? Белые? Красные?" - "А как их мужики чудно называют, не то белогвардейцы, не то красные". Ответ непонятный, пытаюсь выяснить: "А как они одеты? У них красные звезды на фуражках?" - "Нет!" - "А погоны есть?" (показываю на плечи) - "Есть, есть!" - "И кокарды на фуражках?" - "Да, да!". Сомнения нет: в деревне белые! Быстрым шагом, что есть силы, шагаю по полям до деревни, до нее около версты. На душе радость, торжество, сменившие малодушие и уныние, когда я уже почти совсем потерял надежду на успех. Одно только опасение: как бы белые куда-нибудь не ушли и не появились бы в последний момент передо мною красные. И я ускоряю шаг. Налево от дороги бабы копают картофель. "Ты куда, сынок?" кричат мне. - "В деревню", отвечаю. "Не ходи туда, там белые, они тебя убьют!". Бабы принимают меня за красноармейца. "Ничего", отвечаю я, "даст Бог не убьют, не бойся!". Иду дальше и опять мне кричат другие: "Не ходи туда, тебя убьют. Там белые!". Все больше набираюсь смелости и говорю: "Не бойся, тетка, сам знаю, что белые. Они мне и нужны. Свои!". Бабий хор замолкает.

Вхожу в деревню. Вижу по другой стороне широкой улицы идут в противоположном мне направлении два солдата с погонами с винтовками за плечами. Они не замечают меня и проходят мимо. Не хочу переходить улицу и догонять их, предпочитаю иметь дело непосредственно с офицерами. Навстречу мне идет бравый унтер с погонами и кокардой, толстый, краснощекий, но совсем не такой, как большевицкие унтеры, с которыми мне пришлось встречаться. Милый, с добрым русским лицом. Он как будто на меня не обращает внимания. Сам подхожу к нему: "Скажите, где здесь офицеры?". Унтер сразу настораживается: "А Вам на что?" - "Хочу сделать заявление" - "Какое?" - "Я только что перебежал от красных!". Лицо унтера добреет, но остается серьезным: "Ах так, пойдите, пойдите!". Проходим с унтером по деревне, около одного дома на траве отдыхает группа офицеров и добровольцев. Человек пятнадцать. Сразу, "с места в карьер", начинаю рассказывать мою

историю. Поездки, аресты, кубанцы, бегство итд. Говорю залпом, не оставиваясь. Никто не перебивает. Слушают с напряженным вниманием. Один только доброволец спрашивает (неожиданно-резко, как бы с целью поймать): "А как это красные при аресте часы у тебя с рук не сняли?" - "Сам не знаю", отвечаю я. "Сначала сняли, а потом отдали". Вижу перед собою хорошие русские лица, исчезли все эти "красные кубанцы", для которых расстрелять человека все равно, что выпить стакан воды, татуированные "товарищи" Азарченко, караульные начальники, ведущие на расстрел генералов, матросы "Красный террор", визжащие комиссары в черных куртках, придурковатые красноармейцы. Все исчезло и осталось позади с их кровавым символом, красной звездой ⁴¹. "А каковы теперь Ваши намерения?", спрашивают меня. "Почему Вы прибыли к белым?" - "Чтобы поступить в Добровольческую Армию", отвечаю я, "чтобы сражаться против красных" - "Так поступайте к нам сейчас". Я соглашаюсь. "А какая здесь часть?" - "Команда пеших разведчиков Второго Дроздовского полка" ⁴².

На душе глубокое спокойствие и радость. И твердая вера в Бога, явно неоднократно спасавшего меня от верной смерти. И уже не стихами Есенина, а словами "Отче Наш" молюсь я Богу и благодарю Его.

41. Так я переживал полвека тому назад мое избавление из красного плена. Помню все это и сейчас, но вместе с тем с благодарностью и любовью вспоминаю всех русских людей, которые мне помогли и даже сочувствовали в моих испытаниях, были со мною добры. Крестьянку, напоившую меня молоком и грустившую о моей участи. Матроса в "рваных брюках", незаметно давшего мне домоть хлеба. Конного конвоира, успокаивавшего меня и оставившего свободным. И, конечно, о Пала и моих сослуживцев "мужичков". В них моя любовь и память о России.
42. Второй Офицерский Стрелковый Генерала Дроздовского полк был выделен из Первого и сформирован в июне 1919 года в Харькове после занятия его белыми. В часто упоминаемых в этих примечаниях книгах Туркула и Кравченко описываются боевые действия доблестных Дроздовских частей в гражданскую войну, начиная от Ясс в феврале 1918 года. Нет необходимости в моих "Воспоминаниях", ограниченных тем, что я видел лично осенью 1919 года, на них останавливаться.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

У ДОБРОВОЛЬЦЕВ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НАСТУПЛЕНИЯ

Марш вперед, Россия ждет
Дроздовского бригады
Дроздовская боевая песнь

Несколько успокоившись от пережитых волнений и освоившись с новой обстановкой, я с большой силой почувствовал голод. Ведь за последние три-четыре дня я кроме хлеба, да и то случайно мне попадавшегося, я почти ничего не ел, а сейчас уже более суток вообще ничего не ел и не пил. Я попросил есть. Мне сказали, что еще не прибыла походная кухня с обедом. Тем не менее, один из солдат поделился со мною хлебом и меня повели в избу, где я напился воды и хозяйка, молодая баба, угостила меня похлебкой. Я ел так много, что солдат мне сказал: "Не ешь сразу так много, после голодовки это может тебе повредить!". Хозяйка, когда других не было в комнате, спросила: "Почему ты к ним перешел? Ведь у них строже!". Я был огорчен этим замечанием. "Зато у них лучше. А у большевиков что? Расстрелы, голод. Потому я от них и ушел". Через час привезли обед. Я снова пообедал. Вкусный, сытный обед, как мне показалось. Но и на самом деле, в это время в Добровольческой Армии хорошо кормили. По общему мнению, в то время как красная армия превосходила белых в смысле техники, вооружения, обмундирования, у добровольцев продовольствие было лучше поставлено, особенно в смысле мяса и хлеба. А то, что у белых недостаток техники и одежды, меня удивило. Я воображал, что англичане снабдили Белую Армию всем нужным. Вернулись два солдата, посланные на разведку. Усталые, с лицами покрытыми толстым слоем коричневой пыли. И шинели их были тоже в пыли. "Ох уж эта война", сказал один из них, "нет на свете ничего худшего, чем война". Немного позже слышу, как один солдат рассказывает (ему, как будто, было поручено что-то реквизировать у населения - не то пишу, не то одежду, не помню): "Ну я, конечно, первым делом пошел к попу, грожу ему: Давай, а то плохо будет!"

- "И как тебе не стыдно было требовать у попа", срамит его другой, "ведь ему красные и без того глаза повыцарапали". Очевидно, первый только недавно попал к белым из красной армии и не разобрался еще в их настроениях. Вскоре после обеда двигаемся вперед в северо-восточном направлении. Подвод (крестьянских, как обычно) не хватает, на них кладут вещи, а большинство идет пешком. Я иду с ними. Мне еще не выдали винтовку, говорят, что еще хотят отправить в какой-то штаб для проверки. У меня узкие сапоги и после вчерашнего дневного и ночного хождения (я, ведь, в общей сложности прошел верст 50-60) у меня разболелись ступни ног. Не могу ходить, ступни ног подгниваются. Прошу сесть на подводу, на них едут старшие, а я самый молодой, мне отказывают: "Должен идти пешком", но потом соглашаются. Мирно беседую с офицерами, спрашивают меня о "Совдепии". Офицеры симпатичные, простые. Солдатам лет под тридцать, видно, они проделали германскую войну. Кто они - добровольцы, мобилизованные или пленные и перебежавшие от красных, разобрать трудно. К вечеру, пройдя верст десять, ночуем в деревне.

На следующий день, 21 сентября, меня переводят в офицерскую роту ⁴³. Об отправке в какой-то штаб для проверки больше нет речи, слишком явно видно, что я белый, а не большевицкий агент. Выдают винтовку, хотя я с ней хорошенько не умею обращаться, первый раз в жизни держу в руках. Выдают также две ленты патрон, вешаю их на себя крест накрест. Прошу выдать мне шинель, а то я хожу в одном летнем непромокаемом плаще, а уже наступают холода. Отказывают, у нас в одежде недостаток, вот когда добудем у пленных красных, тогда дадим (Я ее получил через две недели, тонкую, не зимнюю, так что стал носить зараз и шинель и плащ поверх ее. В таком виде я был

43. Офицерские роты стали образовываться в Добровольческой Армии в конце лета 1919 года, когда даже в так называемых "офицерских" полках большинство воинских чинов состояло из мобилизованных солдат. Офицерские роты обыкновенно держались в ближайшем резерве и вводились в бой только в критических обстоятельствах. Цель их образования было сохранять офицерский состав от чрезмерных потерь, выделять из них нужные командные кадры для формирования новых частей, восполнять потери в офицерах.

похож на чучело. Поручик Андреев много раз говорил мне не делать этого, но я отвечал: "Не могу, замерзаю. Дайте теплую шинель!" и он не настаивал. В офицерской роте было тогда около 80 человек. В первых трех взводах действительно офицеры, в четвертом взводе, куда меня зачислили, было четверо-пятеро офицеров, остальные, человек 15-18, добровольцы. В послеполуденное время получилось известие: Дмитриев взят нами! ⁴⁴. Никакой артиллерийской стрельбы мы, однако, за весь день не слышали. Грузимся на подводы и через несколько часов приезжаем еще до темноты в Дмитриев. Размещаемся на ночь в каком-то большом каменном доме, спим на полу. Странно, но и радостно ощущать, что Дмитриев, где я был всего два дня тому назад, когда там были красные, теперь в наших руках. И теперь я не прячусь, а могу спокойно ходить по его улицам. На следующий день утром, улучив свободную минуту, иду посетить М., у которого я раньше останавливался. Они еще довольно перепуганы, но надеются, что при белых будет лучше и спокойнее. Прошу дать мне мои вещи, которые я у них оставил. Они мне теперь очень нужны (в них куртка, белье и еще кое-что другое, что я сейчас забыл, важное в походе). "Невозможно сейчас дать", отвечают мне, "мы их зарыли вместе с нашими вещами на дворе. Там сейчас стоят солдаты, боимся при них выкапывать. Подождите несколько дней, солдаты уйдут, все успокоится и мы их Вам вернем". Это меня совсем не устраивает, ведь я не знаю, куда меня переведут завтра, а не то что через три дня. Но ничего не поделаешь, не настаиваю, не хочу подводить людей, которые все ж таки оказали мне услугу. "А что стало с этим "коммунистом" К.?", спрашиваю я. - "Да он совсем не коммунист!" - "Знаю, знаю!" - "А он здесь у нас, боится выйти. Хотите его видеть?". Меня ведут во внутреннюю комнату, где у стола сидит К. На лице беспокойство, когда увидел меня. "Не бойтесь", говорю ему, "Вы меня не вы-

44. Дмитриев был, как мы уже отмечали (прим. 31) взят белыми за два дня до этого, но потом ими утрачен. См. у Кравченко: "21-го сентября красные повели наступление на город Дмитриев и было заняли город, но к 17-ти часам контрн наступлением наших частей вновь выбиты и город был окончательно занят нашими частями" (стр. 289). Очевидно, что полученное известие относилось ко второму взятию города белыми. В их руках он оставался более месяца.

дали красным и я теперь не стану на Вас доносить". Он говорит, что сейчас начинается новая жизнь и чтобы в ней участвовать надо за нее бороться. Все ж таки мне дают кое-что из моих вещей, которые не были зарыты. Я их сдаю в обоз, где они впоследствии пропали.

В описании дальнейшего мне трудно будет указывать точные даты, как это я делал до сих пор. Они не сохранились в памяти из за однообразия и монотонности моей военной жизни, иногда только прерываемой яркими событиями. Нашу офицерскую роту все время держали в резерве, берегли для трудных обстоятельств, когда в ней будет крайняя необходимость. Поэтому мы не видели фронта и даже гул орудий до нас не доносился. О том, что происходит на фронте мы, добровольцы четвертого взвода, тоже мало знали. Разве только то, что нам иногда рассказывали офицеры или в особых случаях наш ротный командир поручик Порель объявлял всей роте, собранной для этого. Никакие газеты до нас не доходили. Как бы то ни было, вероятно на следующий день, 22 или 23 сентября, мы выступили из Дмитриева на север, ехали на подводах, останавливались в деревнях и к 25 сентября (приблизительно) прибыли в город Дмитровск Орловской губернии верстах в 60 к северу от Дмитриева ⁴⁵. фронт же находился еще дальше, верстах в 15-20 к северу. Так быстро развивалось за последние дни наше наступление. Настроение у добровольцев нашего взвода было до легкомыслия оптимистическое. "Через неделю" или даже "На будущей неделе" "будем в Москве". Это говорили люди, не побывавшие в сущности в настоящих боях (большинство их поступило в армию недавно в Рыльске и вместе с офицерской ротой находилось в резерве). Лично я с момента поступления к белым, отбросив прежние сомнения в успехе Белого Движения, всецело уверовал в его торжество, но ясно сознавал, что победа дастся в результате упорной и, может быть, долгой борьбы. Я знал из виденного мною, что красные перебрасывают на фронт крупные силы и что организация у них и воля к борьбе не сломлена. Поэтому я сказал, слыша такие чрезмерно оптимистические мнения: "Дай

45. Дмитровск Орловский (не смешивать с Дмитриевым Льговским) был взят Самурцами с боем 24 сентября, то есть накануне нашего прибытия туда. См: Кравченко стр. 289.

Бог, чтобы мы были в Москве через месяц или даже два". Мое замечание вызвало недовольство: "Нет, мы будем в Москве через неделю, а то потом настанет зима, и нам будет плохо". Такое настроение было очень опасным. Когда война стала затягиваться без новых успехов, среди рыльских добровольцев началось разочарование и упадок духа. Нужно сказать, что наши офицеры высказывались более сдержанно ⁴⁶. В Дмитровске наша рота расположилась в каменном здании женской гимназии. Наш взвод поместился в большом зале нижнего этажа, спали на полу. С утра не выдают долго хлеба, обед тоже задерживается. Мы голодны. Вижу, что два добровольца нашего взвода идут с большими ломтями хлеба, рассказывают, что их им дали в соседнем доме. После некоторого колебания иду и я туда и прошу хлеба, объясняю, что с утра ничего не ел, выдача задержалась. Хозяйка, молодая женщина, ни слова не говоря и не выражая никакого недовольства, отрезывает мне большую краюху черного хлеба. Это видит другой доброволец (не из нашего взвода, а из команды пеших разведчиков, о нем ниже) и укоряет меня: "Как Вам не стыдно просить хлеба у населения, они сами в нем нуждаются. Вы доброволец, студент, не должны так поступать. Имейте терпение, хлеб будет Вам роздан". И, действительно, вскоре затем происходит раздача хлеба, а после и обед из походной кухни. Днем, идя по улицам, я увидел замечательную сцену. По середине дороги идут двое мальчишек, один лет двенадцати, другой десяти. Они несут громадное трюмо (шкап с зеркалом). На лицах их торжество. Сияют. "Комиссар это у нас забрал, себе на квартиру поставил. Теперь несем обратно к себе". Я стал выражать им сочувствие, но впоследствии я часто с грустью вспоминал эту сцену: что стало не только с трюмо, но с ними самими и их родителями, когда красные вернулись в город? Если только они не успели бежать и находятся где-нибудь в эмиграции. Принадлежали они, по-видимому, к состоятельной, но мало интеллигентной семье. На

46. Угрозу Москве в сентябре 1919 года признавало, однако, само советское командование. "Состояние 14-ой и 13-ой армий" (действовавших против нас)... "создает обстановку, при которой не исключается опасность за Орел и даже Тулу и Москву", пишет в своем докладе советскому правительству от 8/21-13/26 сентября красный главнокомандующий Каменев (См: Из истории гражданской войны в СССР т. II Москва стр. 521).

следующий день слышу от жителей: "Сегодня по случаю праздника (вероятно Иоанна Богослова) в соборе было торжественное богослужение, а в том молебен о победе Белой Армии. Присутствовало много ваших начальников" ⁴⁷. Я очень жалею, что никто не сказал мне об этом раньше, я непременно бы пошел. Иду все же в храм. Пусто, богослужение кончено. Храм полон ладана. Помолившись, выхожу. Вечером для нашей роты была устроена баня, но меня назначают часовым у дома, где остановился ротный командир. Стою, мокну под дождем, мерзну. Когда возвращаюсь к себе, почти в полночь, баня уже кончилась. Не осталось горячей воды. Жаль, хотел хотя бы немного освободиться от вшей, которые меня поедают. Впрочем, у меня все равно нет смены чистого белья, чтобы переодеться. Усталый ложусь спать на пол. Хочу снять сапоги, но они у меня узкие, туго снимаются. Ложусь в сапогах и скоро засыпаю каким-то болезненным сном. Внезапно просыпаюсь. Тревога. К нам вбегают офицеры, приказывают: "Немедленно вставайте. Забирайте винтовки, какая первая попадется, нет времени искать свою, и выходите на улицу. Красные в городе. Поскорее!" Вскакиваем. Снаружи слышатся выстрелы. Хорошо, что я не снял сапог, а то одеть их не так скоро. Винтовки наши сложены в соседней комнате. Хватаю первую попавшуюся, оказывается моя. Выбегаю на улицу и догоняю мой взвод, уже успевший пройти вперед. Как выясняется, отряд красных, человек пятьсот, пробрался нам в тыл и неожиданно напал на город. Незамеченные, они дошли до площади и стали спрашивать, где здесь женская гимназия (из этого видно, что они знали, где помещается наша офицерская рота). Тут красные сделали ошибку, начали стрелять и тем обратили на себя внимание наших часовых (а то они могли бы перебить всю спящую после бани роту). Было три часа ночи. В городе три или четыре параллельных улицы. На первых из них (в центре и влево от него) выстроились первые три взвода, а на четвертой, самой правой, наш взвод. Начался наступательный бой против красных, пришедших с севера. Собственно

47. Как раз в эти дни, 25 сентября, патриарх Тихон обратился с посланием к духовенству, в котором он предписывал ему воздерживаться от выражения сочувствия белым (служением молебнов, колокольным звоном итд.), так как это могло вызвать тяжелые репрессии в случае возвращения красных. Конечно, патриаршее послание в то время было нам неизвестно. См: Архиепископ Никон (Рклицкий). Жизнеописание Блаженного Антония, Митрополита Киевского и Галицкого. Том VI. 1960 стр. 57

говоря, ожесточенная ружейная стрельба шла на улицах левее нас, где наступали первые три взвода, а против нас красных, вероятно, не было, так что до нас долетела только одна пуля на излете. И нам за ночь не пришлось сделать ни одного выстрела. В начале, особенно когда мы еще только шли или занимали наши позиции на улице (по-видимому на окраине города, с обеих сторон небольшие деревянные домики, нигде нет света, темно), я очень боялся, трусил за жизнь, но потом это прошло. Больше страдал от холода, моросил мелкий дождь. К пяти часам утра бой прекратился, красные были выбиты из города. И мы тоже, хотя без боя, медленно продвигались вперед по нашей улице и к утру очутились на северной окраине города. Через некоторое время нам было предписано продвинуться вперед, версты на две, и занять позиции у реки Нерусы севернее Дмитровска, на возвышенности. У нашего командования был план окружить красных, отступивших за реку Нерусу, а наш взвод был оставлен в виде заслона, если бы красные вздумали отступить в нашу сторону. Мы стали готовиться к бою, вырыли в песке небольшие прикрития и ожидали. Погода между тем несколько исправилась, сквозь осенние облака выглянуло солнце. В три часа начался бой. С возвышенного места было видно, как офицерская рота гнала перед собою красных (ясно видели, впрочем, другие, я по близорукости мало что различал). Треск ружейной стрельбы все усиливался. "Вот они сейчас повернут в нашу сторону", заговорили около меня и нам сказали быть готовыми к бою. "Смотрите", обращается к нам поручик Роденко, "никто не должен самовольно бросать свои позиции, если на нас пойдут в атаку красные. Я пристрелю всякого, кто побежит. Так что, если кто выдержит и будет отстреливаться, может остаться живым, красные увидят, что мы отстреливаемся и сами повернут обратно. А если кто из вас струсит и побежит, верная смерть, я его тут же пристрелю!". Конечно, я понимаю, наш взвод состоит в большинстве из "добровольцев", ни разу не обстрелянных и не бывших в настоящем бою, поручик Роденко имеет основания не доверять их боевым качествам, неизвестно, как они поведут себя в бою, но все же мне обидно слушать такие ненужные, как мне кажется, угрозы. Неужто все основано на страхе и мы воюем из под палки? Красные, однако, неожиданно повернули в другую сторону и в результате ушли. Я даже жалел, что мне не пришлось более активно участвовать в бою. Мы даже ни разу не выстре-

лили! Красные оставили за собою пятнадцать трупов, у нашей роты был всего один раненый. Нападение красных меня удивило, я их не считал более способными на это, но легкая победа над ними, несмотря на их численное превосходство и на то, что у них было пять пулеметов, а у нас один, еще более убедило меня в нашем боевом превосходстве и укрепило веру в победу.

Мы вернулись в город. Наши добровольцы рассказывают друг другу, что они видели ночью, когда шел бой, как жители зажигали свечи перед иконами и молились о нашей победе. Вечером два других добровольца говорят между собою вполголоса в моем присутствии. Оказывается, когда произошло ночное нападение красных, у нас под охраной было двое молодых пленных красноармейцев или местных жителей, точно не помню. Подозревали, что они коммунисты и потому прислали в офицерскую роту для расследования. Охранять их в ночной бою было невозможно, да и опасно для тех, кто охраняет. Решено было их убить. Им приказали лечь на землю. Его ударили (кто, рассказывавший не сказал) лежащего штыком в спину между лопатками. Лежащий громко закричал. Его ударили второй раз. Он замолк. Тяжелый рассказ. Я молча слушаю. Конечно, ничто не может поколебать мою веру в Белое Дело, но все же тяжело.

ГЛАВА ВТОРАЯ

НА ПЕРЕЛОМЕ

Октябрь уж наступил

Пушкин

Позиции на реке Нерусе были самым северным пунктом продвижения нашей офицерской роты на пути в Москву. Линия фронта проходила, однако, еще севернее, верстах в двадцати в максимальный момент наступления ⁴⁸. На следующий день, 28 сентября, под вечер, наша рота была отведена из Дмитровска в большое село Орловской губернии, Упорой, на полпути между Дмитровском и станцией Комаричи. Это передвижение было для меня неожиданным и непонятным, настолько я был уверен в непрерывности нашего продвижения вперед. Я был огорчен. На самом деле этот наш отвод на Упорой был началом, если не отступления, то во всяком случае топтания на месте и даже медленного осаживания назад. Так мы простояли около двух недель в Упорое, опять куда-то двинулись то вперед, то назад, все это по грязным осенним дорогам, в слякоть и под дождем. Опять вернулись в Упорой, потом на станцию Комаричи, оттуда к югу вдоль железной дороги на Дерюгино и через месяц, 27 октября, докатились до Дмитриева (Льговского) ⁴⁹.

48. По линии железной дороги на Брянск самым северным пунктом продвижения Дроздовцев была станция Брасово, в 24 верстах севернее Комаричей и в 70 верстах южнее Брянска. На этом наступление остановилось: "Войска 14-ой советской армии успешно отбили все попытки противника прорваться к Брянску" (Ж. Агуреев. Разгром белогвардейских войск Деникина. Москва, 1961 стр. 76.).

49. Сильнейшие бои происходили за все это время на фронте Дроздовской и Корниловской дивизий в районах Комаричи-Дмитровск-Кромы-Орел, о которых мы (я, по крайней мере) ничего не знали, хотя смутно чувствовали, что не все благополучно. В начале, правда, были крупные успехи, когда Первый Дроздовский полк под командой полк. Туркула разгромил 29 сентября у станции Комаричи большой отряд матросов и уничтожил 4 бронепоезда (Туркул стр. 122-124), тот же Туркул совершил новый сорокаверстный рейд в тылу красных севернее Дмитровска, где разбил латышскую дивизию (Туркул стр. 126-128), но, в общем, перевес постепенно склонялся на сторону красных. Так Орел, занятый Корниловцами 30 сентября, был ими оставлен 7 октября, Брасово было оставлено 11 октября. Кромы и Дмитровск переходили из рук в руки, пока окончательно не были заняты белыми 13 октября. Советские историки называют эти бои, 28 сентября-14 октября, Орловско-Кромской операцией (См: Орловско-Кромская операция ВСЭ, 2-ое изд. 210-211). Хот:

С 10 октября погода резко переменилась, гнилая осень сменилась необычайно ранней зимой, выпал снег, стояли десятиградусные морозы. Для нас, меня в особенности с моей легкой шинелью, летнем плащем и парусиновой железнодорожной фуражкой (мне так и не дали другой!), наступившие морозы были настоящим бедствием. А тут еще я по неопытности обменял мои хорошие, но слишком узкие, сапоги на широкие, но рваные, которые в немного дней совсем развалились, так что я ходил по морозу полубосой на одну ногу. "Что ж это Вы променяли хорошие сапоги на плохие?", спрашивал меня поручик Андреев. - "Да я думал, что они широкие, более мне подходящие, не заметил, что они рваные" - "Да Вы бы мне сказали, я бы обменял Ваши на мои, они мне немного велики, а Вам бы вполне подошли". Но откуда я мог это знать? Вообще, из всех добровольцев нашего взвода я был самый неопытный, самый неприспособленный к трудностям походной жизни. И вместе с тем наименее обеспеченный в смысле теплой одежды, белья итд, потому что все они пришли в армию из дому, а я перешел фронт без ничего. Немудрено, что я был (за исключением одного, о нем ниже) наиболее покрытый вшами, искушенный блохами, с которыми я не умел бороться. Нередко я унывал и малодушествовал, но окончательно духом не падал. Я доброволец, у меня в руках винтовка, мы сражаемся за Россию, думал я и брал себя в руки.

Как я уже сказал, офицерская рота долго простояла в селе Упорой. Мы были размещены по крестьянским домам. В деревне было сравнительно мало молодых мужчин, вероятно они были мобилизованы в красную армию. Население встречало нас не враждебно, мужики и осо-

Дроздовская дивизия не потерпела в ней серьезных неудач, но вынуждена была отойти, понесла большие потери, и инициатива военных действий перешла на сторону красных. Основной причиной успеха красных было их сильное превосходство в людях и технике. Так, по тем же советским данным, у красных было на фронте 80-90 тысяч штыков и сабель с 2 тысячами пулеметов и 400 орудиями, в то время как у белых было всего 55-58 тысяч штыков и сабель, 800 пулеметов и 260 орудий. Любопытные данные о малочисленности белых сообщает в своем докладе ЦК Украины красный шпион коммунист Кернерс, скрывавшийся в районе Дроздовской дивизии: "На Комаричинском фронте, где у нас было не сколько полков, у Деникина действовали 2-3 роты, а в момент отступления Деникина из под Комаричей, там была одна 9-ая рота 2-го Дроздовского полка" (Гражданская война на Украине т. II стр. 511).

бенно бабы называли нас "наши". Над этим многие из нас шутили: "Сегодня мы для вас "наши", а вчера вы так красных называли"—"А кто к нам пришел, тот для нас и "наши", отшучивались бабы. "Для нас, чтобы фронт или вперед прошел или назад понятился, только бы война не у нас была. Здесь войны от века не было, мы ее страшимся", приходилось не раз слышать. Но были и другие мнения. "Не дай Бог, если вернутся красные. Они нам мстить будут за то, что мы вас принимаем", говорила крестьянка средних лет. А ее двенадцатилетняя дочь с какой-то недетской серьезностью и сосредоточенностью добавила: "Они всех нас убьют, замучат". В общем, крестьянское население не желало возвращения красных, боялось репрессий, но активной помощи нам не оказывало. Основное чувство, которое я испытывал в Унорое, была скука от ничего неделания и однообразия жизни. Происходили, правда, кой-какие строевые занятия, нас обучали обращению с винтовкой, хотя выстрелить в порядке учения ни разу не пришлось, берегли патроны. Обучали нас петь петь дроздовские, добровольческие и, вообще, военные песни (некоторые из них, как "Смело мы в бой пойдем за Русь святую и как один прольем кровь молодую" или дроздовские марши мне нравились). По вечерам, после переключки, наш взвод пел "Отче Наш". Все это занимало не так много времени, а остальную часть дня я не знал, чем заняться. Конечно, ни газет ни книг мы не видали. Несколько раз ретный сообщал нам о военных успехах, один раз о взятии Орла. ("Это начало конца красных", подумал я. Увы, через неделю стало известно, что Орел оставлен), другой раз о взятии армией Юденича Петрограда. "Там теперь наносится главный удар против красных, но и ужас, если красные полезут в наступление, я убежден, что они опять получат по морде!", добавил он. Я сразу усумнился в истинности известия о взятии Петрограда. Как-то это сообщалось без всяких подробностей, если бы это было фактом, то о взятии Петрограда гревели бы повсюду, а тут последовало молчание. Да и какой главный удар мог быть нанесенным Юденичем, главный фронт южный, здесь решается война, я это ясно понимал⁵⁰. Для того, чтобы провести время, мы ходили в соседнее име-

50. Конечно, известие о взятии Петрограда было ложным. Курьезно, однако, что в Харькове, где находился штаб Добровольческой Армии, был отслужен торжественный благодарственный молебен и парад на главной площади по случаю "взятия" Петрограда ген. Юденичем! См: Борис Пылин. Первые Четырнадцать Лет. Калифорния. 1972 стр. 56.

ние (графа Гейдена, как я впоследствии прочитал у Лескова!). Тополевая аллея, большой помещичий дом с открытыми настежь дверьми. Пустые комнаты, никакой мебели, все растащено. В библиотеке на полу валяется порванная французская книга, все что осталось, а в другой тоже на полу пустая бутылка красного вина. Возвращаясь к себе, я увидел сквозь деревья с возвышенного места большой красивый дом, с балкона второго этажа которого развевался огромный трехцветный русский флаг. В этом доме помещался наш ротный командир поручик Порель. Я так и замер и не мог оторваться: ведь вот уже более двух лет я не видел русского национального флага и сейчас вид его наполнил меня радостью и торжеством. Только подумать, что еще совсем недавно здесь могла болтаться ненавистная красная тряпка, символ крови и рабства, а сейчас здесь развевается наш русский флаг! Вот за что мы сражаемся и не может быть, что мы не победим!

Нельзя все же сказать, что наше пребывание в Упорое сводилось к такого рода прогулкам. Хотя мы не видели и не слышали фронта, но враг был близок и нужно было принимать меры предосторожности. Ночью выслались дозоры к северу от Упороя, откуда всегда можно было ожидать нападения. Помню нас раз послали, четыре или пять добровольцев нашего взвода под командой офицера. Выехали, когда стало темнеть, проехали мимо тополовой аллеи имения, свернули куда-то и затем остановились на опушке леса. Заняли позицию у перекрестка дорог и простояли там всю ночь, но красные так и не появились. На следующий вечер меня опять назначают с другой заставой: "Вы там были вчера и знаете дорогу" — "Да я плохо запомнил, ошибусь!" — "Не может быть, не ошибетесь". И я поехал и, конечно, ошибся. Не свернул, когда нужно, и в результате мы долго ехали в поле, никакой опушки леса не было видно. Офицер (он был не нашего взвода и меня не знал) начал нервничать (от него пахло водкой, видно, он излишне выпил). "Ты куда нас хочешь завести? К красным?", начал он кричать на меня, "да тут и позиции нет. Пока мы будем убегать от них по полю, они нас перестреляют!" Я отвечал, что плохо запомнил дорогу. "А ты сколько времени у нас?" — "Две недели" — "А раньше, где был?" Я объяснил, что был в район красных, но в красной армии не служил и с большой опасностью перешел фронт, чтобы поступить в Добровольческую Армию. Но офицер мало верил: "Ты сам, верно, из красных. Когда вернемся, заяви по

начальству, что ты ошибся и приказал тебе доложить об этом". Вскоре он, однако, переменялся, хмель у него прошел. Он взял меня с собою и впереди, отдельно от других, мы производили разведку. Под конец он сказал: "Вот видишь, я тебя не знал, первый раз вижу, а доверился тебе, взял с собою на разведку, посмотреть, как ты будешь себя вести. Никуда не являйся и никому не докладывай".

Пребывание наше в Упорое было омрачено одним тяжелым случаем. По приговору военно-полевого суда был расстрелян по обвинению в самовольном оставлении позиции во время боя у Дмитровска офицер нашей роты, чин (поручик или штабс-капитан?) и фамилию которого я сейчас забыл. Будем называть его условно А. Про него рассказывали, что в бою против красных в сентябре, за несколько дней до моего перехода через фронт и приблизительно в той же местности, он уже спасался бегством от красной конницы, хотя непосредственной угрозы ему не было, сбросил с себя шубу, чтобы бежать быстрее и прятался, пока шел бой, в лесу. Его и тогда хотели судить, но ротный командир его простил, так как А. обещал, что это больше не повторится. 27 сентября во время боя у реки Неруси А. опять самовольно бросил свою позицию и тем облегчил противнику выскользнуть из угрожавшего ему окружения. Это нам рассказывал поручик Роденко. "Сейчас заседает военно-полевой суд и можно думать, что А. будет приговорен к расстрелу". Немного спустя поручик Роденко получил новые сведения: А. приговорен к расстрелу, но приговор должен еще быть утвержден ротным командиром, который имеет право помиловать. А. попросил свидания с ротным, но тот отказал. Если бы он его принял, ротный должен бы был, конечно, его помиловать. Через полчаса мы услышали глухой залп. Поручик Роденко перекрестился: "Царствие ему Небесное! Он расстрелян!" После этого поручик Роденко сел писать письмо сестре расстрелянного в Харькове, что ее брат был расстрелян такого-то числа в селе Упорой по приговору военно-полевого суда за оставление позиции во время боя, о чем он считает долгом ей сообщить. Такая точная формулировка письма меня огорчила, мне казалось, что лучше было бы просто написать, что А. убит в бою. Расстрел А. произвел на меня особенно тягостное впечатление, так как я успел с ним лично познакомиться и когда мы лежали на наших позициях у реки Неруси, он подошел к нам и весело с нами и со мною

в частности беседовал. Вообще, он производил впечатление жизнерадостного человека, разговорчивого. Расстрел, как рассказывали, был произведен одним из взводов офицерской роты, назначенным по хребту. "На офицерскую роту", как-то сказал поручик Роденко, "часто возлагают выполнение карательных мер, это вызывает к ней ненависть красных, да и населения тоже". А мне было стыдно перед жителями Упороя: на их глазах расстреливаем друг друга (для того, чтобы вырыть могилу и зарыть расстрелянного привлекли местных мужиков).

За время нашего пребывания в Упорое я несколько присмотрелся к личному составу нашей офицерской роты. Постараюсь кратко передать мои впечатления, насколько помню. Начну с нашего ротного командира, поручика Порель. Никто не оспаривал его несомненную личную храбрость, но его не любили за его крайнюю строгость, переходящую, как говорили, в жестокость. Во всяком случае, он не обладал даром привлекать людей, уметь подходить к ним. В этом он отличался от полковника Туркула, командира Первого Дроздовского полка, пользовавшегося и в нашем полку громадной популярностью легендарного героя (После него наиболее популярное имя было полковника Манштейна, командира Третьего Дроздовского полка. А в нашем полку командиры все менялись, так что я даже не запомнил их имен. Среди них самым выдающимся был, повидимому, полковник Руммель. Одно время нашим полковым командиром был полковник Голубятников, я его раз видел, как он проезжал мимо нас в экипаже с "классическим" бородатым кучером в поддевке на козлах. Грузинский человек. Наш ротный обыкновенно ездил на коне). Для характеристики нашего ротного командира расскажу следующий случай. Как-то раз, когда наш взвод производил строевое учение, появился ротный командир. "Ну как этот новый?", спросил он, имея в виду меня. "В смысле выправки, строевого обучения еще очень слаб", отвечает поручик Роденко. — "А вы с ним поостроже. Наказывайте! Ставьте под ружье!" Трудно себе представить большую психологическую ошибку и непонимание! Я нуждался в поощрении, а не в угрозах. Я пошел добровольцем в армию, я старался, как мог, а если я, студент и еще вчера штатский человек, не смог за две-три недели усвоить строевое искусство, то, право, ~~то~~ от недостатка желания и, во всяком случае, не наказаниями можно было усилить мое рвение. Да и какая там "выправка", когда сапоги разорваны и шовех шинели болтается

непромокаемый плащ! Словом, я был оскорблен и огорчен. Поручик Порель, как говорили, был раньше воспитателем в Одесском Сергиевском Военном Училище и, вероятно, там научился таким воспитательным приемам.

С офицерами других взводов нашей роты мне приходилось мало сталкиваться. Насколько я знаю, большинство из них было недавно в Добровольческой Армии, со времени занятия белыми Харькова и даже Сум. В Сумах белые по занятию города объявили призыв офицеров и на него откликнулись многие из там живших офицеров и под тем или иным видом скрывавшихся от большевиков. Среди наших офицеров помню князя Оболенского, к нему на несколько дней из Киева приезжала его супруга. Я с ней передал письмо для моего отца, который в это время жил в Ростове и ничего о мне не знал, да и я не знал его адреса. Письмо это дошло, хотя и с большим опозданием. "Вам может быть чтонибудь нужно?", спросила она меня. — "Да все нужно", ответил я, "вот, хочу в рваных сапогах, нет теплых вещей". Но помочь мне она, конечно, не могла. Присутствие "князя" среди нас производило впечатление на мужиков. "Он у вас, наверное, на особом положении?", спросил как-то один из них наших добровольцев. "Совсем нет", был ответ, "он, как все. Становится в очередь за борщом и кашей". Мужик был удивлен: "Вот как!" Держал себя князь просто и скромно. Гораздо лучше я помню офицеров нашего взвода, среди них поручиков Андреева, Карнова и Роденко. Все они, как будто, поступили в армию в Сумах. В общем, кроме хорошего я ничего о них не могу сказать, я от них за все время не слышал ни одного грубого слова или резкого замечания. Им было лет под тридцать, все они проделали германскую войну. Скромные и старательные люди воинского долга, без всяких притязаний на особый офицерский блеск. Поручик Роденко, семинарист по образованию, был, правда, грубоват (не со мною) и даже примитивен по своим манерам, но добрый душой и заботливый о нас. Он был убежденным демократом, противником "старого режима". "После войны", говорил он, "когда мы возьмем Москву, гвардией будут Корниловские, Дроздовские, Марковские полки, а не старая императорская гвардия". Гвардейцев он терпеть не мог, особенно кавалеристов, называл их "Жоржиками". Стоял за созыв Учредительного Собрания после победы над большевизмом.

Остальные войны нашего взвода состояли, как я уже сказал, из добровольцев. Почти все они были из города Рыльска, иначе

говоря были в армии не больше месяца (Но все же больше чем я, что давало им "моральное" преимущество надо мною. А кроме того они, как земляки, поддерживали друг друга, я был для них чужаком). Собственно говоря, "добровольцами" их можно было назвать весьма условно. Дело в том, что когда белые заняли Рязьск, там, как везде, откликнулось много молодежи, настоящих добровольцев, но они не попали в наш полк, в офицерскую роту во всяком случае. Нами "добровольцы", если не все, то большинство, были взяты по мобилизации, которую белые произвели вслед за тем в Рязьске по выработанному шаблону: мобилизовали, более или менее наугад, кто попадет под руку, молодых людей интеллигентного или полунинтеллигентного вида и сразу же зачисляли в действующую армию (Нас, правда, держали в резерве вместе с офицерской ротой и немного обучали воинскому искусству). Скажу про наших "добровольцев", что в большинстве своем они были несомненно настроены антибольшевицки, боялись и не желали возвращения красных, но в них не было духа жертвенной активной борьбы с советчиной, подлинного воинского духа. Это были обыватели, пострадавшие, конечно, от большевиков, но предпочитавшие высидеть в своих углах, а другие пусть воюют! Они были совершенно отличны от классического типа белого воина, героя добровольца, юности, бросившего все ради борьбы за Родину! Однако, этот тип "добровольца-героя" отнюдь не миф, я встретил таких в нашем Втором Дроздовском полку, но только не в нашем взводе, а в той же команде пеших разведчиков, в которой я пробыл мой первый день в Белой Армии. Помню одного - высокий юноша богатырь, с красивым открытым лицом, всегда бодрый, горящий энтузиазмом борьбы с красными, а вместе с тем такой аккуратный, прекрасно одетый и вооруженный, великоленной выправки, несмотря на то, что в прошлом был студент. Это был тот самый доброволец, который сделал мне замечание, когда я попросил хлеба у жителей Дмитровска. "Что-то мне не нравится значек на Вашей фуражке", как-то говорит он мне. - "Да это значек железнодорожника, его носили еще до революции", ответил я, "мне не дали другой фуражки, вот я и ношу" - "Все равно, напоминает серп и молот, неприятно" - "Ну раз Вам не нравится, я выброшу значек", ответил я и с тех пор стал ходить в фуражке без всякого значка. Я восхищался этим героем-добровольцем, но думал: если бы и у меня были такие сапоги и такая же шинель, а также и ручная граната за поясом, может

быть и я был бы не таким плохим добровольцем! А пока что, у меня не было ни солдатских погон ни кокарды, так за все время моего пребывания в армии я их не получил. Несколько отличную группу от этих рильских "добровольцев" составляли два студента Харьковского университета (впрочем, и они были как будто тоже мобилизованы в Рильске). В общем тихие и даже на вид забитые люди, один из них, однако, большой критикан. По своему интеллектуальному уровню они были выше остальной рильской группы (провинциальная "интеллигентность" последних была очень слабая), но воинского духа было у них еще меньше. Раз один из них говорит мне: "Получено хорошее известие. Вышло распоряжение, студентов освобождать от военной службы, дать им возможность продолжать учиться в университете. Подадим вместе прошение и поедем в Харьков учиться" — "Не верю", ответил я, "что такое распоряжение действительно вышло. А главное, оно меня не интересует. Сейчас не время учиться, нужно сначала закончить войну, разбить большевиков" — "Что Вы, что Вы", отвечает студент, "мы все устали от войны. Довольно крови, хочется мирной жизни, учиться". Все эти добровольцы, пока дела шли успешно на фронте, были, как я уже говорил, настроены крайне оптимистичны, но когда наступил перелом и успехи сменились топтанием на месте и даже частичными отходами, настроение их пало и среди них началось разложение. Не хочу, однако, обобщать: и среди них были смелые мужественные люди, готовые активно бороться с большевиками. Так, например, когда, однажды, командир нашего взвода обратился к нам, нет ли у нас двух охотников, готовых пойти на разведку, выяснить, нет ли поблизости от нас красных, об этом имелись сведения, сразу откликнулись двое добровольцев, а вслед за ними и другие двое, и так охотно и бодро, что между ними даже начался спор, кто пойдет на разведку (Правда, тут сыграло роль и то, что всем надоело наше военное безделье). Но не эти смелые люди составляли большинство.

Среди рильских "добровольцев" печально выделялась своеобразная фигура некоего Жеребцова (не вполне уверен, что точно запомнил его фамилию), тринадцатилетнего мальчика хулигана. Вероятно, он происходил из какой-нибудь бедной городской семьи, отбилась от рук и когда в Рильск пришли белые, действительно, в отличие от других, поступил к ним добровольцем. Для него это был выход из трудностей жизни и он представлял себе войну, как легкую и приятную про-

гулку, которая в самый короткий срок завершится взятием Москвы, в награду за что он "выйдет в люди". "В Москву мы приедем на подводах или в теплушках", говорил он, "а обратно нас повезут в вагонах первого класса". Но когда этого не случилось и пришлось испытывать тяжести походной жизни, он разложился и озлобился больше, чем кто-либо другой. У него, как у меня, не было ни белья ни вещей в обозе и потому, грязный и неопрятный по природе, он развел вшей больше чем кто-либо другой, так что его рыльские земляки запрещали ему ложиться спать близ других. Он был подлинно "придурковатый", этого типа людей, которых я так часто встречал среди красноармейцев и от которых я думал избавиться, уйдя к белым. Меня он возненавидел за то, что я по убеждению поступил в Белую Армию (это было для него непонятным) и, вообще, был чуждым для него человеком-интеллигентом, да к тому же не из Рыльска. Он всячески надо мною издевался и даже лез драться на кулачки, чем ставил меня в трудное положение. Драться с ним я считал для себя унижительным, а если не отвечать, он только больше наглед. Конечно, его легко могли остановить другие рыльские добровольцы, но они, как земляки, его скорее поддерживали. А тут еще одно обстоятельство обострило положение. Как-то во время учения поручик Андреев (или Карпов, точно не помню) спрашивает меня: "Вы не родственник министра Кривошеина?" — "Да, я его сын", отвечаю я (до этих пор никто меня об этом не спрашивал и я не считал правильным об этом говорить самому. Но раз спрашивают, нужно отвечать правду). Поручик был поражен. "Вот как! А я Вас так просто спросил, совсем не думая, что Вы на самом деле ему родственник". И подумав немного, добавил: "Ничего, имейте терпение, все восстановится, все будет по прежнему!" Я был тронут сочувствием, хотя слова поручика мне не совсем понравились. Мы ведь сражаемся за Россию, а не за то, чтобы все было "по прежнему". Другой аналогичный случай: нужно заполнить вопросник-имя, возраст, месторождение итд., а также и "сословная принадлежность". Пишу, не как в Брянском Особом Отделе, "крестьянин", а как на самом деле, "дворянин". Оказывается, единственный из всего взвода. Кто-то даже советует: "Не пишите так, а то если попадетесь к красным, будет плохо!" (Как будто бы, если бы меня захватили красные, я мог бы уцелеть!). То, что стало известным, что я "сын министра", мало отразилось на моем положении.

Некоторые офицеры, может быть, стали относиться ко мне с большим интересом, но я, как и прежде, продолжал ходить в моих рваных сапогах. А у Жеребцова это вызвало еще большую враждебность ко мне. Он по своей примитивной психологии не мог себе представить, что "сын министра" ходит без сапог и вообще служит рядовым на фронте, а не устроился где-нибудь в тылу на теплом месте, так что или не верил мне или издевался над моей неспособностью. "Каким это министром был твой отец? Может быть над лошадьми? Кучером?", язвил он и изображал жестами, как кучер правит лошадьми. Еще одно обстоятельство вызвало отчуждение между "рыльскими" и мною. В избу, где мы стояли, обыкновенно приносили еду на всю нашу группу, пять-шесть человек. Остальные, хотя они были горожане, крестьян среди них не было, имели обыкновение есть из одной миски, а я предпочитал черпать суп из отдельной тарелки. Случалось также, что я по светской привычке забывал перекреститься перед обедом. На это обстоятельство обратили внимание хозяева изб, мужички и бабы, и стали подозревать, что я еврей или сектант ("Ест отдельно! Не крестится!"). Пришлось перекреститься перед ними, показать натальный образок. Поверили. С тех пор я стал воздерживаться есть из отдельной тарелки. Скажу еще, что между рыльскими добровольцами и местными мужиками была также некоторая отчужденность. "Рыльские" были полу-украинцы. Между собой они, правда, говорили по-русски, но с рядом украинских выражений ("У Рыльск" вместо "в Рыльск", "бачить" вместо "видеть", никогда не слыхали слова "ши", а только "борщ"). Они смеялись над великорусским говором орловских мужиков и особенно баб (Они говорили "Он" вместо "он", "открыть хлебушка" вместо "отрезать", дверь "закутана" вместо "закрыта" итд.). Вообще для малороссов Великороссия представлялась каким-то краем света, Сибирью, и это отражалось на настроении рыльских, отчасти даже и наших "сумских" офицеров с тех пор, как мы вступили в Орловскую губернию. Отмечу еще, что в Упорое (или, может быть, в другой деревне, не помню) нам показывали, как достопримечательность, "курную" избу. Без трубы, дым выходит через дверь, низкий потолок черный от сажи. В ней никто не живет, она давно брошена, что не мешает нашим офицерам шуткам иронизировать: "Вот как здесь живут! У нас это немисливо".

Наш уход из Упороя совпал приблизительно с на-

чалом морозов. В дальнейшем мои воспоминания, вплоть до прибытия в Дмитриев, 27 октября, перепутались, я не запомнил ни дат ни всех передвижений по деревням взад и вперед, но более назад. Буду отметить только запомнившиеся характерные эпизоды, по возможности в хронологическом порядке. Мы все движемся близ фронта, но самого фронта не видим. Помню наша рота идет ночью по большой дороге. Мороз. Луна. Ротный едет на своем коне. Нас обгоняют два всадника. "Здорово, ребята! Какой части?", обращаются они к нам и проезжают дальше. Из рядов выбегают два добровольца и говорят ротному: "Это два рыльских комиссара, мы их знаем". Ротный бросается на коне в догонку с револьвером в руках, но их и след простыл. Ротный возвращается и приказывает: "Поставьте этих двух в наказание под ружье, за то что вовремя не сказали!". Среди "рыльских" ропот: "Следующий раз ничего не будем сообщать, раз за это наказывают". Да, наш ротный несомненно храбрый человек, но как он не умеет подходить к людям. Через некоторое время попадаетеся нам человек в солдатской шинели, шагает по дороге навстречу нам. Ротный приказывает: "Проверьте этого товарища!". К нему подходят два дроздовца. Тот вытягивается в струнку, отдает честь. Показывает документы. Объясняет почему идет ночью. Все в порядке, его отпускают. Другой раз пять человек нашего взвода с офицером во главе посылают занять сторожевую позицию. Идем полями. Над нами сравнительно низко летит самолет в южном направлении. Производит разведку. Оказывается красный, наших мы на фронте никогда не видим. Досадно и горько, почему у красных есть самолеты, а у нас нет? Почему англичане не дали? Вечером остаемся в поле. Недалеко лежит на спине убитый красный латыш. Стоит мороз, и потому от трупа никакого запаха. Латыш, как видно, убит пулей в живот, шинель и куртка в крови. Сапоги уже сняты. В кармане его находят деревянную ложку, а я как раз потерял перед этим мою. После некоторых колебаний беру ложку и с тех пор ем из ложки красного латыша. На ночь разводим в поле костер. На огонь неожиданно появляется из темноты типичный русский мужичек с рыжей бородкой, в тулупе, средних лет. "Да здравствует Учредительное Собрание, господа офицеры!", выкрикивает он и так неожиданно, что я даже вздрогнул. "Нас пугали", продолжает ораторствовать мужичек, "что придут белые, будут мучить людей, ломать руки. Но я не верил и говорил: "Неправда, не

может быть, потому что идет все ученый народ!". Другой раз пришлось пролежать всю ночь вместе с нашим взводом, усиленным офицерами из других взводов, в кустах близ дороги, откуда можно было ожидать нападения красных. Мерзну, но это не главное, а сон! Он нападает на меня с невероятной силой, глаза слипаются и каждую минуту засыпаю. Борюсь изо всех сил, но ничто не помогает. Офицер все время толкает меня в бок, будит, усовещает: "Как Вам не стыдно спать, Вы ведь на посту!" Так проходит почти вся ночь. На рассвете, со стороны, где могут быть красные, показывается всадник, едет нагом в нашу сторону. Это он, красный или белый? Из нашего отряда выделяется юнкер, адъютант ротного, и на коне, с револьвером в руках, подскакивает к всаднику. Тот вздрагивает: оказывается и он задремал на коне. Вясняется, что он наш. В нашем взводе пополнение: два унтер-офицера царской армии, перебежавшие от красных. Лет сорока, один из них русский с бородой, другой татарин. В смысле выправки, знания военного дела, куда выше наших добровольцев. Положительный, серьезный элемент, но насколько надежный? Один из них, русский, уже пять раз переходил от красных к белым и обратно. Это "старо-режимные" солдаты и к порядкам Добровольческой Армии они относятся довольно критически. Хочу отметить, что выражение "старый режим" не только для них, но и для многих пожилых крестьян и даже, как это ни странно, для нашего Жеребцова, отнюдь не носит порицательного характера, а, наоборот, является синонимом порядка и совершенства. "При старом режиме было не так!", слышешь постоянно, когда подвергаются критике порядки Белой Армии. Пришлось мне встретиться в эти дни еще с одним перебежчиком из красной армии. К нам перебежал начальник штаба одной советской дивизии (как будто 41-ой, но не уверен), полковник царской армии, фамилию не помню. Его держали под арестом при офицерской роте вплоть до расследования его дела. Подозревали, что он только потому бежал от красных, что его дивизия потерпела поражение и ему грозил расстрел. Мне пришлось его конвоировать вместе с другим добровольцем. Полковник был удручен своим арестом, беспокоился за будущее. Он был мало разговорчив, но мне все же удалось поговорить с ним. Я убежден, что он искренне перешел к белым и было грустно и досадно, что у нас так плохо принимают переходящих к нам ответственных чинов красной армии. Другая неожиданная встреча: на стоянке в одной из деревень под-

бегают ко мне офицер в черном, радостно здоровается, говорит: "Вы здесь? Вы не узнаете меня?". Оказывается, это тот красный офицер, с которым я вместе сидел в Военно-Контрольном пункте и который так ловко изображал собою красного и умело подлаживался к красноармейцам. "Как, Вы здесь", спрашиваю его, "Вас освободил Военно-Революционный Трибунал?" - "Нет, меня не передали трибуналу, а повезли обратно для расследования, а я по дороге бежал". Я поражен, так ловко он изображал красного, что невольно закрадывалось сомнение: а, может быть, он действительно красный, а только притворяется белым? Но нет, этого не может быть, он не подбежал бы тогда так радостно, да и за что он тогда сидел у красных?

Несколько дней позже приходим на станцию Комаричи, наш взвод сейчас действует отдельно от остальной офицерской роты. Здесь впервые за время пребывания в Добровольческой Армии встречаюсь с пропагандным пунктом белых. У станции стоит вагон с газетами, воззваниями итд. Бросаюсь на "белогвардейские" газеты, я их впервые вижу. Попадается "Великая Россия". Статьи написаны неплохо, но грустно, что в газете всего один лист и что печатается она на коричневой бумаге. В "Правде" и "Известиях" по четыре страницы и печатаются они на белой бумаге ⁵¹. Далее, сообщение Ставки о военных действиях. Оно все сводится к описанию отдельных героических подвигов добровольцев и не дает никакой общей картины положения на фронтах, не говорю уже о том, что ничего не сообщается о сибирском и других фронтах. Невольно сравниваешь с советскими сводками: они, правда, написаны условным языком ("развиваются бои" нужно понимать, как "белые наступают" итд.), но кто этот язык научился понимать, может составить себе довольно ясное и точное представление о линии фронта и о военных действиях и притом на всех театрах войны ⁵².

51. Я точно передаю здесь то, что я видел в Комаричах в октябре 1919 года и что я тогда думал и чувствовал. Но с тех пор я узнал, что и "Правда" к этому времени стала выходить на одном листе, хотя и на белой бумаге, а некоторые "белогвардейские" газеты, как "Приазовский Край", продолжали выходить на четырех страницах белой бумаги.

52. Однако, советская сводка, правда несколько "подчищенная" цензурой, обыкновенно печаталась в белых газетах. Такие газеты мне, просто, не попались под руку в Комаричах. Вероятно, их там не было.

Беру в руки коричневую листовку "Обращение к Братьям Крестьянам!". После сладавого введения говорится, что вся земля, захваченная во время революции, должна быть возвращена их законным владельцам, но так как крестьяне ее уже вспахали и засеяли, то из урожая одна треть должна быть дана государству, вторая законным владельцам, а третья останется у крестьян за их труд. Не верю своим глазам: мы еще не взяли Москвы, нам нужна помощь крестьян, а мы провосглашаем, что землю нужно вернуть помещикам и в виде подачки предлагаем крестьянам треть урожая, да и то лишь на первый год. Какая глупость! Кто составляет и рассылает такие "Обращения"? Ко мне подходит поручик Роденко: "Охота Вам читать эту гадость", говорит он. "Эти листки следует сжечь, чтобы их никто не видел. Вы не можете себе представить сколько зла они нам причиняют. Во многих местах крестьяне встречали нас по братски, с полным сочувствием, а прочитав эти листки, стали относиться к нам враждебно"⁵³. Комаричи утешили нас вато встречем с Первым Дроздовским полком с полковником Туркулом во главе. Помню, прибыл сначала на станцию дроздовский бронепоезд (забыл его имя). Собственно говоря, только часть вагонов и паровоз были забронированы, а остальные товарные вагоны были срезаны на половину и укреплены толстыми бревнами, мешками с песком. Сквозь их в отверстиях торчали пулеметы и орудия. Вскоре станция заполнилась несколькими сотнями военных Первого полка. Мужественные, бодрые, шумные, веселые, к тому же хорошо одетые, блестящей выправки, они резко отли-

53. Увы, эти "коричневые листовки" довольно точно передавали постановление правительства ген. Деникина от 25 июня 1919 года "Правила о сборе урожая в 1919 году". Как рассказывают, проф. А. Д. Вилимович, возглавлявший при ген. Деникине Управление Земледелия и Землеустройства, впоследствии "не мог себе простить, что, заведая этой важной стороной жизни Юга России и имея возможность повлиять на решение этого важнейшего вопроса в нужном направлении, не решился разработать более радикальной программы земельного устройства России и настоять на ее немедленном проведении в жизнь" (Пылин стр. 14-146). И упоминая далее о земельной реформе в Крыму при Врангеле, Пылин замечает: "Будь это сделано, когда мы были под Орлом, возможный исход борьбы был бы другой" (там же). Большевицкая пропаганда воспользовалась, конечно, "Правилами о сборе урожая" для дискредитирования Белой Армии в глазах крестьян. См., например, передовую "Правды" от 16 сентября 1919 г. "Урожай помещику".

чались от нас. "Ну эти разобьют красных", послышалось кругом. Друг слышим: "Туркул! Туркул!". Все бросились смотреть прославленного военачальника, я вслед за ними. Неуверен, однако, что я его различил в толпе. Вижу стоит на платформе один высокий, красивый, вероятно он, но неуверен.

Мы все же постепенно откатываемся к югу. Почему, понять мне было трудно, так как боев мы не видали. Побывали, правда, снова в Упорое, там был ночной пожар, сгорели три крестьянских дома, причины не выяснены (одни говорили: "Красные подожгли", другие: "По неосторожности, хозяева напились пьяными"), а потом наш взвод долго оставался, неделю или больше, на полустанке южнее Комарич. Стояли морозы, шел снег. Мы целыми днями грелись у большой печки станционного здания, но сколько ни бросали в печку поленьев, печка только чуть чуть нагревалась, весь жар вылетал в трубу. Ночью спали на каменном полу, как можно поближе к печке. Дни проходили в состоянии какого-то оцепенения. И все тяжелые рассказы, как, например, за одним из наших (но не из нашего взвода) долго гнался красный конный, а он от него убегал на санях (езде тогда установился санный путь). Красный уже совсем настигал, взмахивал шапкой, чтобы зарубить, но, слава Богу, у крестьянина-возницы была хорошая лошадь, возница ее ловко подхлестывал, красный долго гнался, под конец отстал. Красная конница, вообще, наводит страх на наших "добровольцев", ее единственно боятся, но поручик Роденко нас поучает: "Пехота никогда не должна бояться кавалерии, против пехоты она бессилна, если только пехота не поддастся панике. Испугаться и начать бежать - гибель. Конница всегда настигнет и зарубит. А нужно твердо стоять на месте и стрелять по атакующей коннице. Она не выдержит. Лошадь так устроена, что не может идти против огня. Шарахнется в сторону и побежит обратно". Помню, когда мы стояли на этом полустанке, меня послали в одну деревню, верстах в двенадцати к западу, реквизировать барана для нашего взвода, у нас был недостаток в мясе. Поехал я один, с винтовкой в руках, на крестьянских санях вместе с возницей, знавшим дорогу. Вызвали старосту. Он как-то странно посмотрел на меня, позвал какую-то бабу и приказал ей привести барана. Она это исполнила, но стала укорять старосту: "Уж это я тебе припомню, уж это я не забуду, что ты именно у меня забрал барана. У богатых побоялся,

а у меня забрал". Мне было неловко, но я исполнял приказание. Дал бабе расписку, что у нее был реквизирован баран и что она может получить за него деньги в соответствующих инстанциях. Конечно, я сознавал, что такая записка мало что стоит. Из разговоров со старостой выясняется, что красные очень близко, чуть ли ни на другом конце деревни, но дальше не двигаются. Спешу уехать. Начинает темнеть. Везжаю из деревни и вдруг, почти рядом, слышим стреляет батарея, несколько выстрелов. Кто это, наши или красные? Спешу уехать и думаю дорогою о красном всаднике, гнавшемся за белым, как и я ехавшем один на санях. По благополучном возвращении рассказываю, как баба выражала свое недовольство старосте. "Не надо было брать в таком случае", говорит офицер, что не мешает ему и всему взводу вкусно поужинать жареным бараном. Другой раз поздно вечером нас вызывают на соседний полустанок. Там стоит вагон со снарядами, а получены сведения, что поблизости бродит отряд красных, их видели, опасность, как бы они не захватили или не уничтожили снаряды. Нужно оттянуть срочно снаряды на другой полустанок к югу. Паровоза нет, приходится самим впрягаться в вагон. Трудность в том, что железная дорога в начале идет слегка в гору, а потом идет крутой подъем. В вагон впрягают пару лошадей, а мы всем взводом, офицеры и солдаты, толкаем его сбоку, упершись плечами. Сначала толкать не особенно трудно, но когда начинается крутой подъем, приходится напрягаться всею силою, и то вагон еле движется. Лошади тоже выбиваются из сил, двое мужиков их хлещут. Несмотря на мороз пот с меня течет градом, я весь мокрый, изнемогаю, кажется, никогда в жизни так не уставал, а конца не видно. Поручик Роденко нас подбадривает: "Еще немного усилий! Не забывайте, что некоторые из вас пошли в армию добровольцами!" Эти слова дают мне новые силы. Наконец, мы достигли вершины подъема, начинается спуск. Быстро распрягают лошадей, мы вскакиваем в вагон и он начинает сам двигаться, сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Так мы подъезжаем к следующему полустанку.

Все это топтание на месте и даже пачение назад отражается на настроении. Студент критикан иронизирует: "Теперь уже не "Москва нас ждет", а "Харьков нас ждет". Я возмущаюсь (я еще всецело верю в победу и хотя я все более и более вижу трудности, сама мысль о отступлении к Харькову мне кажется нелепостью). "Не может быть",

возражаю я, зачем так говорить?" У меня от холода открываются раны на ногах. Иду в санитарный околоток. Фельдшер перевязывает раны, мажет мазью. "А нельзя ли мне эвакуироваться в тыл, подлечить ноги?", спрашиваю я. Мне не столько хочется лечить ноги, сколько привести себя в порядок в смысле обуви и одежды. Мне не "надоело" воевать, но я сознаю, что воевать зимой с разорванными сапогами нецелесообразно. "Вот еще чего захотел", грубо отвечает фельдшер, "из за каких-то ранок эвакуироваться!" И действительно, рядом лежит раненый в живот кавалерийский гвардейский офицер. Тихо стонет в полусознании. Его сопровождает солдат. "К утру умрет!", говорят. Это не то, что мои раны на ногах. Мне становится стыдно. Среди населения тоже начал чувствоваться перелом в настроениях. Мужики молчат, но бабы высказываются. "Долго ли вы еще, солдатики, будете ярмо носить?", говорит одна в присутствии нескольких добровольцев. Мы молчим. Да и что с ней делать? Задержать, чтобы ее потом выпороли, только больший вред будет, а спорить с душой бессмысленно. Да я как-то устал спорить. А в другой раз мужик и баба, как будто железнодорожные будничники, начинают мне говорить (других при этом не было): "Раз мы уже выбрали начальниками в России Ленина и Троцкого, так нужно было этого и держаться, а не менять опять власть". Я не выдерживаю: "Что ты, тетка, там говоришь? Кто их выбирал, они сами власть захватили. Да и какие они русские начальники? Троцкий совсем не русский, его фамилия Бронштейн, он жид!" Мужик смотрит на меня испуганно, наговорили лишнего, баба с удивлением, первый раз слышит. Замолкают. Поручик Роденко тот объясняет неудачи тем, что "жоржики" плохо сражаются: "О-пять "жоржики" драпнули! Оставили Севск!" (там сражался Пятый Кавалерийский корпус под командой ген. Взефовича). Таким образом, то и дело отступая и не видя противника, докатываемся постепенно до Дерюгина и оттуда к вечеру 27 октября попадаем в Дмитриев. Здесь соединяемся с остальной частью нашего взвода и со всей офицерской ротой. Узнаем печальную новость: пять рыльских добровольцев с Жеребцовым во главе дезертировали. Убежали ночью, бросив винтовки. Оказывается, Жеребцов уже давно агитировал среди своих за это. "Убежим у Рыльск а то все пропадем!", подговаривал он. И главное, чтобы я не знал, а то помешаю. Но почему же другие, которые знали, не поменяли ему?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МЕТЕЛЬ

"Ну, барин", закричал ямщик, "беда, буран!"

Пушкин

В тот же вечер я улучил свободную минуту и пошел к моему знакомому М., у которого остались мои вещи. Вся семья была в большой тревоге: "Беда, что делается!", жалуются они, "по домам ходят военные, обыскивают, отбирают вещи. Вот и из Ваших вещей они забрали большую часть. Говорят: военные вещи, они принадлежат армии, вы не имеете права их держать. Мы говорим: да они вашего, дроздовца, показываем Вану записку, но они и слышать не хотят" — "Да кто же их забрал?", спрашиваю. "Поручик из комендантского управления" — "Ну так дайте мне хотя бы то, что осталось" — "Сейчас трудно, они запрятаны. Приходите завтра, мы их к тому времени вынем". Что поделаешь, приходится подчиняться, не везет мне, видно, с моими вещами. На следующее утро, 28 октября, новое распоряжение: офицерская рота уходит в северном направлении (то есть как будто ближе к фронту), а второе отделение нашего взвода, то есть четыре добровольца, в том числе я, во главе с офицером (насколько помню, поручиком Карповым), остаемся в Дмитриеве производить мобилизацию. Являемся сначала, как нам предписано, в комендантское управление. Небольшой двухэтажный каменный домик на главной улице. На стене у входа дощечка с надписью: Комендантское Управление города Дмитриева. Стоит часовой с ружьем. Внутри за столами сидят военные, что-то пишут. Словом все в порядке, спокойно. Двое мальчишек — оборванцев, лет десяти-двенадцати, в дырявых сапогах, снявши шапки, просят у коменданта поступить добровольцами. Тот смотрит на них пристально и говорит: "А одежда у вас есть? Сапоги есть?" — "Нет", отвечают те, "да ведь выдадут!" — "Ах так! Так вы ради сапог поступаете. На что вы нам нужны. Убирайтесь вон!" Юные "добровольцы" поспешно смываются. "Прими их", комментирует комендант, "получат одежду, сапоги и завтра же убегут!" Поручик Карпов договаривается с комендантом относительно обеда для нашей группы. Начинаем производить мобилизацию и скоро убеждаемся в малой продуктивности этого занятия. Сначала мы дейст-

вовади следующим образом. Идем всем нашим отрядом по улицам и когда встречаем молодых людей "по городски" одетых (местная "интеллигенция!"), останавливаем их и предлагаем им поступить в армию. Никто прямо не отказывается, но почти все придумывают различные предлоги. Одни говорят, что им нужно собраться с вещами, у другого какое-то незаконченное дело, третий болен, еще один говорит, что нужно подумать, не может так сразу решиться. Записываем их фамилии и предписываем явиться на следующий день в девять часов утра в комендантское управление. Так как на улице много народу не встретишь, начинаем спрашивать у встречающихся молодых людей, кого они знают в городе, подходящих для армии и где они живут. Некоторые говорят, что никого не знают, другие указывают ряд имен. Начинаем ходить по домам и для большей эффективности разделяемся на две группы. В моей двое, я и один доброволец. В домах в общем та же картина. Принимают любезно, охотно разговаривают, но придумывают те или иные предлоги отсрочки и уклонения, хотя никто прямо не отказывает. Удивляться этому не следует, подлинники добровольцы уже поступили в армию, как только пришли белне. И не в момент колебаний и неудач на фронте можно ожидать нового наплыва. В одном из домов нам сообщают: "Красные на вокзале!". Нам это представляется невероятным. "Не может быть!", говорим мы, "откуда они могли взяться, их не было поблизости. Кто вам это сказал?"—"Да это сообщил сейчас один молодой человек, он их там видел. На самом вокзале он, правда, не был. И мы сочли своим долгом вас предупредить". Уходим, не придавая большого значения сказанному нам, но в сердце все же тревожно. Так проходит время до обеда, когда бывший со мною доброволец идет справляться, когда и где будет обед, а я остаюсь один. Прохаживаюсь по улицам. На площади базар. Бойко торгуют хлебом, мясом, овощами, разными съестными продуктами, разложенными на столах. Сравниваю с недавним большевицким временем, когда нельзя было купить куска хлеба. Захожу в какую-то не то мастерскую не то контору. Посетитель мирно беседует с хозяином о разных житейских делах. Посетителю лет сорок пять, одет по зимнему, на ногах хорошие высокие сапоги бело-желтого цвета. "Что у Вас за сапоги?", спрашивает его хозяин. "А это из свиной кожи", отвечает тот, "замечательные сапоги. И теплые и и легкие и в воде непромокают." Я хочу подойти к нему и сказать: "Отдайте ка мне Ваши сапоги и берите мои. Вы живете мирной жизнью, достанете

другие, да они Вам не так нужны. А мне в рваных сапогах воевать невозможно!". Колеблюсь немного, но так и не решаюсь ему это сказать. Сижу молча со скорбными чувствами.

Вдруг тревога. "Красные!", как молния передается из уст в уста. Выбегаю на площадь. Базар мгновенно опустел. Ни торговых ни продуктов, одни пустые столы. Я тоже один-ни добровольца, бывшего со мною, ни поручика Карпова с двумя другими, не видно, искать их нет времени. Да и неизвестно где. Первая мысль: скорее пока не поздно пойти к М., забрать, наконец, мои вещи. Дом его в направлении вокзала, спешу туда. Прохожу мимо комендантского управления. Окна и двери раскрыты настеж, ни часового у входа, ни дощечки с надписью. Все уже убежали ⁵⁴. Навстречу мне начинают попадаться группы, в несколько десятков человек каждая, отступающих наших солдат и офицеров. Идут быстро, в беспорядке, лица озабоченные, напряженные. "Вы куда идете в этом направлении?", спрашивают меня. — "Я за вещами, они там остались". И продолжая все быстрее идти. Вопросы учащаются: "Куда Вы идете? Зачем сюда? Красные уже на вокзале!". Отвечаю сначала: "За вещами, они в доме, не доходя десять минут до вокзала". Иду дальше, но потом останавливаюсь: да какой смысл рисковать попасть к красным ради вещей? Видно, мне не суждено их видеть. А тут еще от волнения запутываюсь и теряю дорогу к дому М. Поворачиваю обратно и присоединяюсь к отступающим дроздовцам. Они все нашего Второго полка, но других рот. Слышу рассказы, как красные напали на наши позиции в немногих верстах к западу от вокзала по дороге на Севск. "Утром у них был какой-то праздник, пели песни, слышно было, как го-

54. Как видно из дневника офицера Первой Дроздовской батареи Соловьева (Кравченко стр. 310-311) "наша конница", находившаяся западнее Дмитриева в направлении на Севск, "внезапно отошла", открыв дорогу красным, которые очутились "верстах в двух от Дмитриева". Началась спешная эвакуация находившихся на станции военных грузов. А через несколько часов красные сбили защищавшие с запада станцию дроздовские роты. О близости красных стало известно в Дмитриеве с 8 часов утра и странно, что в комендатуре нас не предупредили о положении. Отмечу, что напавшие на Дмитриев с запада большевицкие части входили в состав 14-ой советской армии Уборевича, расстрелянного вместе с Тухачевским в 1937 году.

ворили речи, кричали ура", рассказывают солдаты. "Потом они бросились в атаку, их было очень много, наши не выдержали, побежали, стали отступать к городу. Жаль полковника. Он у нас тучный, да еще в тяжелой шубе, запыхался, не смог бежать. Видно было, как поднял руки, говорит: "Сдаюсь, товарищи, пощадите, не убивайте!". Не тут-то было! Подняли на штыки, кричат: "Золотопогонник!". Ах жаль его, хороший был человек, а помочь ничем не могли, сами спасались". Выходим из города на дорогу к югу на Льгов. Мне трудно поспевать за отступающими: подошва на правом сапоге совершенно отлетела, остался только кусочек на пятке, ступаю босом ногою, от камней и обледенелой земли на пальцах, ноги раны. Больно, но когда нога подмерзает, проходит. На пороге одного из домиков вдоль дороги стоит молодая женщина с бледным грустным лицом, на голове белая шерстяная шаль. Зовет меня: "Здесь один из ваших оставил две ленты патрон. Возьмите их". Протягивает их мне, а у меня уж без того две ленты через плечо, я еле иду, изнемогаю. Откаиваясь от них, не могу, не в силах. Женщина огорчена и с грустью и горечью в голосе говорит: "Почему вы нас бросаете, уходите? Мы только при вас зажили, а теперь придут красные, всех нас убьют. Мы все погибнем!". Я сам чуть не плачу, мне стыдно, говорю: "Не смогли удержать, не было сил, но может быть мы еще вернемся"—"Но нас уже не будет в живых", говорит женщина. Присоединяюсь к нестой роте отступающего полка, говорю: "Я был оставлен в Дмитриеве для мобилизации, потерял связь, могу быть с вами пока не найду своей части?"—"Пожалуйста!", отвечают мне. Верстах в двух-трех от города дорога делает поворот и поднимается в гору. Оттуда вид назад на Дмитриев и на вокзал. "Сейчас нас увидят красные и обстреляют", слышу я кругом. Однако, кроме одной пули на излете, она с хужжанием впилась в землю в нескольких шагах от меня, никто не стреляет. Продолжаем отходить. Почему?, спрашиваю я себя, что случилось, неужто нельзя дать здесь отпор красным ⁵⁵. К вечеру входим в деревню, ночуем в нетопленной

55. Я не представлял себе тогда всю серьезность положения на фронте, создавшуюся из за численного превосходства красных и ряда одержанных ими успехов в неравных боях. Вообще, мне трудно было еще тогда себе представить, как это красные могут бить белых.

избе. Сплю тяжелым сном. Нога оттаивает и начинает болеть.

На следующее утро, 29 октября, отступление как будто приостанавливается. Шестая рота получает предписание двигаться вперед, но не прямо на Дмитриев, а правее его, то есть в северо-восточном направлении. Перед нами движется наша батарея. Часа через два достигаем ложину, дорога круто спускается вниз, но с другой стороны оврага видим как нам навстречу спускается другой поток людей и подвод. Идущая перед нами батарея круто заворачивает назад. Мы тоже поворачиваем назад. Оказывается, впереди крупная неудача. Погибла дроздовская батарея, четыре орудия захвачены красными. С этого момента начинается настоящее отступление ⁵⁶. По дороге длинные линии подвод, на них отступают наши войска. Почти никто не идет пешком, только я, потерявший сейчас связь с шестой ротой, я не могу за ней поспеть, вынужден продолжать идти пешком. Вернее, наблюдается следующая картина отступления. Двигается линия саней (Стоит небольшой мороз, дорога подмерзла, но снега на полях еще нет, не то, что севернее, в Орловской губернии. Тем не менее, всюду установлен исключительно санный путь). В линии, скажем, 50-100 саней. Иногда правят крестьяне, но большей частью сами добровольцы. Очевидно, сани и лошадь тем или иным способом реквизированы. Рядом с санями идут другие добровольцы. Лошади идут шагом, но затем их пускают рысью на некоторое время. Тогда пешие садятся на сани, так что в санях вместе с возницей по два-три

56. Удар белым был нанесен теперь с северо-востока Ударной группой Мартусевича, состоявшей из латышской стрелковой дивизии, другой стрелковой дивизии, отдельной стрелковой бригады, кавалерийской бригады Червонных казаков, всего около 10 тысяч пистолетов и сабель. Ей удалось 20 октября прорвать фронт белых в районе шоссе Кромы-Фатеж. В прорыв была брошена конница Примакова, Червонные казаки (Из истории гражданской войны в СССР т. II №509, телеграмма Орджоникидзе Ленину). Тоже подтверждают и белые: "Третий Дроздовский полк, только что сформированный ген. Манштейном, занял на правом фланге дивизии фронт в соседстве с Корниловцами. В первом же бою полк был разгромлен... Залитые кровью лохмотья полка пришлось свести в шесть рот" (Туркул стр. 133). Дальнейший удар был нанесен белым через неделю, 27-28 октября, когда Червонная бригада с советским стрелковым полком, прорвав фронт Второго и Третьего Дроздовских полков, двинулась по тылам белых на Льгов (Туркул стр. 139). При взятии красными слободы Михайловки, верстах в 30-40 северо-восточнее Дмитриева, погибла 6-ая Дроздовская батарея, были захвачены, по советским данным, 6 орудий (История гражд. войны т. II №513). Об этом событии мы узнали от отступающих 29 октября и сразу повернули на юг, на Льгов.

человека и едут на санях, пока лошади идут рысью, потом слезают. И так продолжается по многу раз. Мое положение трагическое. Я и за пеними не могу поспеть, а за санями, когда лошадой пускают рысью, и говорить нечего. Я непрерывно отстаю. Группы саней все время обгоняют меня. За каждой группой интервал в сто-двести сажень, далее другая группа. Все эти группы проносятся мимо меня, пять или шесть по крайней мере. А за ними кто, когда все группы кончатся? Красные и они захватят меня! Я чувствую, что погибаю, близок к отчаянию, но идти быстрее никак не могу⁵⁷. Догадываюсь, правда, через некоторое время самому садиться в чужие сани, когда начинается движение рысью, выбираю, где поменьше народу и где возница крестьянин, он не посмеет прогнать. На меня, как не принадлежащего к их части, иногда косятся, но, в общем, никто ничего не говорит. Каждый занят самим собой. Все ж таки это не выход и в моем горе я взываю к Богу о помощи и Бог, как всегда, спасает меня. Меня замечает отступающий на санях дроздовец (он едет один без возницы). "Ты кто? Дроздовец?", спрашивает он меня. "Да", отвечаю я, "вот отбился от части, еле иду" — "Садись ко мне, поедем вместе, будет лучше вдвоем". Благодарю его, сажусь с радостью. У него прекрасная лошадь и мы не только не отстаем, но скоро обгоняем все отступающие обозы и едем уже одни. Мой спаситель, видно, тоже отбился от своей части, а может быть и сам от нее отделился, не время в этом разбираться, теперь стремится попасть во Льгов, отдохнуть там немного, обмундироваться. Это в общем совпадает с моими планами. Только во Льгове, думаю, я смогу связаться со своей частью, там ведь штабы, должны знать расположение войск. А главное, я смогу во Льгове получить нужную мне обмундировку, сапоги, теплую одежду, иначе я больше воевать не в силах. Мой дроздовец, может быть, и потому взял меня к себе, думаю я, что ему одному отступать нелегко, а тут он помог своему однополчанину в беде. Как бы то ни было, я ему глубоко благодарен. Кто он такой? Ясно, что не "интеллигент", вероятно, солдат старой армии и, можно думать, давно в Добровольческой Армии. Как гово-

57. Это чувство безнадежного отставания, которое я тогда испытал, осталось у меня на всю жизнь, как некий грозный символ. Я его вновь переживаю, когда завален работой, не могу с ней справиться, безнадежно отстаю от того, что требует жизнь. Мне всегда тогда вспоминается наше отступление.

рится, "бывалый человек"! Размышляю о нашем военном положении: да, мы потерпели крупное поражение, мы в полном отступлении. Все дело в том, есть ли у нас резервы. Если да и мы их скоро можем перебросить на фронт, все поправится и опять будем бить красных. А если нет, то с войсками, которые сейчас на фронте, нам красных не остановить 58.

Часам к четырем дня приезжаем в деревню недалеко от Коняшевки по железной дороге Дмитриев-Льгов, в 25 верстах юго-восточнее Дмитриева. Оттуда, с северо-запада, слышна отдаленная артиллерийская стрельба. Красные, значит, сильно наступают, раз мы от них все не можем отделиться. Отдыхаем в крестьянской избе. Хозяин угощает нас, чем Бог послал. Закусываем. Через час мой дроздовец собирается ехать дальше. Хозяин его удерживает: погода плохая, скоро стемнеет, лучше подождать до утра. Но дроздовец непреклонен, не надо терять времени, да и до Льгова всего восемь верст (на деле было около двадцати). Двигаемся. В отдалении видны группы людей, не военных, идут пешком к югу. Говорят, это беженцы, бегут от большевиков. Мороз усиливается, дорога скована льдом, снега нигде нету, небо покрыто черными свинцовыми тучами. Совершенная тишина, ни малейшего ветерка. Темнеет. Вдруг подул легкий ветерок, он стал усиливаться и усиливаться и в немного времени пережел в ураган невероятной силы. Ледяной ураган, от которого у меня начинают мерзнуть и дико болеть руки. Я весь промерз, опускаю голову, чтобы укрыться от ветра. Мы положили наши винтовки в сани, сами продолжаем идти. Дроздовец подбадривает: "Двигаемся, двигаемся, не останавливаемся!"

58. В действительности, никаких резервов не было и белое командование заменяло их переброской войск с одного места военных действий на другое. Такое маневрирование, успешное в начале, не могло продолжаться, когда красная армия окрепла, количественно и качественно. Ген. Декин, описывая военные операции октября 1919 года, отмечает, что "главный удар, с двух сторон, был занесен против Добровольческой Армии, выдвинувшейся к Орлу", подтверждает далее отсутствие резервов. "Группировка сил противника не была для нас тайной, но ввиду отсутствия у нас резервов, парировать намеченный удар можно было лишь соответствующей перегруппировкой войск" (Очерки Русской Смуты т. V. Берлин 1925 стр. 232-234). Далее странное замечание: "Удар по линии Орел-Севск, выведивший противника на фронт Корниловской и Дроздовской дивизий, не внушал мне опасений".

Через четверть часа ураган нисколько не ослабевает, но сейчас он несет мелкие острые льдинки, как колючки, они впиваются в лицо, хлещут, ранят. Ужас! Дикая порыв ветра срывает с моей головы фуражку и уносит во тьму, в хаос. Нечего и думать гнаться за ней. Иду далее с голой головой. Через полчаса колючки сменяются снежинками, сначала крошечными, потом все крупнее, наконец громадными хлопьями снега. А ураган все бушует с прежней силой. Ни зги не видно во тьме, дорогу замело. Дроздовец идет вперед и разыскивает в темноте следующее дерево, ими на порядочном расстоянии друг от друга обсажена наша широкая дорога, "Екатерининский большак", как его называют мужики, и кричит мне оттуда, чтобы я тянул к нему за уздцы лошадь, она сама не идет. После этого он разыскивает следующее дерево, кричит мне оттуда сквозь тьму и ветер, я снова тащу к нему за уздцы упирающуюся лошадь (Я тогда понял первый раз в жизни, почему дороги в России обсаживали деревьями, иначе заблудишься в метель). Таким образом, от дерева к дереву, таща за собой лошадь за уздцы, мы продвигаемся вперед всю ночь. У меня совершенно отморожены руки. Я должен без перчаток на ледяном ветру тащить лошадь, сначала ощущаю дикую боль в пальцах, затем боль стихает, но когда я взглянул на свои руки, вижу, что пальцы на обеих руках превратились в тонкие прозрачные восковые свечи, желто-янтарного света, и такие твердые, что стучат друг о друга, как костяшки. Я хочу бросить тянуть лошадь, но дроздовец меня заставляяет. У него на санях всевозможные вещи, "военная добыча", ему жаль ее потерять. Он, однако, прав, думаю я, ведь там наши винтовки, да и лошадь бросить нельзя. Как бы то ни было, если бы я не тащил лошадь за собой в эту ночь, я, может быть, и не отморозил так сильно мои руки, но, наверное, сбился бы с дороги и погиб бы в пурге. Удивляюсь, как дроздовец разыскивал в темноте деревья, я бы никогда не смог этого сделать. Идем далее. В одном месте проваливаемся в снежные ямы почти до шеи. А ведь несколько часов назад снега совсем не было! "Что-то плохо дело", говорит дроздовец, как бы нам не замерзнуть! Но ничего, идем дальше!" Мне тепло в яме, нет ветра, не хочется сразу оттуда вылезать. Но дроздовец торопит: "Выходи скорей, а то совсем там останешься". Продолжаем наш путь. Под утро ветер постепенно стихает, снег тоже начинает идти медленно и, наконец, прекращается. Перед рассветом дроздовец замечает вблизи огни. "Ага,

здесь живут люди", говорит он, пойдём туда!". Мы достигли первых домов предместья Льгова ⁵⁹.

59. Сильнейшая метель в эти дни отмечена и у полк. Туркула: "Ночью закрутила пурга. Метет серая тьма, точно все чудовища и самый Вий вокруг бедного Хомп. Английские шинеленки обледенели, в коросте и-нея... На подводах под вьюгою коченели раненные и больные" (стр. 139). Но та ли это метель, в какую я попал? Я попал в метель в ночь с 29 на 30 октября, отступая в одиночку на подводе впереди отходящей армии и пробив во Льгове, где еще были белне, до вечера 2 ноября, когда город и станция были захвачены красными (см. ниже стр. 130). Полк. Туркул не обозначает даты своей метели, но судя по тому, что на следующее за ночной метелью утро в городе уже были Червонные казаки, которых он выбил из города к утру 4 ноября, метель, в которую попал полк. Туркул со своим Первым Дроздовским полком, была в ночь со 2 на 3 ноября. Значит, были две сильнейшие метели с промежутком в четыре дня. В этом нет ничего невероятного. Иначе получается противоречие.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ЛЬГОВ

Затуманится Русь...и взволнуется
море и рухнет балаган

Достоевский.Бесн.

Мы постучались в дом. Вышел хозяин и впустил нас. Кроме его и его семьи в доме были расквартированы два-три солдата Самурского полка нашей Дроздовской дивизии. Мне советуют не входить сразу в теплое помещение, этого нельзя делать при обморожении. Я остался в холодных сенях и стал растирать мои пальцы снегом или держать руки в очень холодной воде, чтобы они медленно оттаивали. Кроме рук у меня оказалась сильно отмороженной в пальцах правая нога и немного левая, но самому мне не было сейчас холодно, я даже согрелся от долгого и трудного ночного хождения. От натирания снегом кожа с пальцев стала сходить, обнаружилось отмороженное мясо, а по мере оттаивания пальцы разбухали и приняли лилово-багровый цвет, переходящий местами в черный. То же, приблизительно, и на правой ноге. Нечувствительность в пальцах сменилась трудновыносимой тупой болью, продолжавшейся свыше часа. Потом она смягчилась и в дальнейшем почти исчезла, кроме как на перевязках. Нужно было думать о дальнейшем. На санях и с руками и ногой обмотанными в какое-то тряпье меня отправили в сопровождении моего дроздовца в комендантское управление предместья Льгова. Погода, слава Богу, переменилась к лучшему. Была легкая оттепель, сияло солнце, тишина, как будто ночной метели никогда не было, только все было завалено снегом. Молодой комендант встретил меня самым лучшим образом. "Я могу Вас устроить в военный лазарет, но, знаете, он переполнен, в нем двести раненых, не хватает кроватей, лежат на полу. Предлагаю Вам поэтому, устрою Вас, если хотите, в гордской Льговской больнице, там будет спокойнее". Соглашусь сдать винтовку и прошу дать расписку, что я винтовку сдал в комендантское управление (так меня учили в офицерской роте). Комендант дает расписку и обращается к двум присутствующим молодым военным: "Вот настоящий доброволец, берите пример! Обморозил себе руки и ноги, но винтовки не бросил, а сдает коменданту". Молодые вытягиваются и отдают мне честь. Я растроган. Вот, наконец, попал в герои, жаль

только, что обо мне вовремя не позаботились, не одели как следует и не обули, тогда, может быть, я не лежал здесь с обмороженными руками, а сражался на фронте. В городской больнице я тоже был встречен со стороны докторского и служебного персонала (сестер милосердия итд.) самым добрым и внимательным образом. Я был единственным раненым в больнице и меня выделяли в смысле ухода и забот из остальных больных, что вызвало даже у них некоторую зависть. Доктор срезал на моих руках совершенно отмороженные куски мяса, очистил раны, помазал мазью, посыпал порошком, перевязал. То же и на правой ноге. В результате мои руки и правая нога превратились в забинтованные култышки, я стал совершенно беспомощным, не мог сам ни есть ни пить ни ходить, разве только скакать на левой ноге.

В палате кроме меня лежало около десяти больных. Все местные льговские жители, многие из них молодые. Большинство больные хроническими трудноизлечимыми болезнями (искривление позвоночника, суставный ревматизм, язва желудка итд.). В больнице, в общем хорошо организованной, был большой недостаток в лекарствах, так что больных было трудно лечить, чем они, естественно, были недовольны. С больными я не мало беседовал. Это были типичные городские обыватели, провинциальные полунинтеллигенты, а то и просто ремесленники. Ко мне они относились скорее дружелюбно, но несколько сдержанно, с осторожностью. Так, в спокойной обстановке, я провел первые два дня во Льгове, 30 и 31 октября. Мне по прибытии в больницу переменяли белье и я впервые, после почти двух месяцев, освободился от пожирающих меня насекомых. На третий день, однако, 1 ноября, в послеполуденные часы, атмосфера резко переменилась. Опять послышалось: Красные приближаются! В городе началась поспешная эвакуация. По улицам тянулись бесконечные обозы со всяким скарбом и отступающими солдатами. Я сам не мог этого видеть, я лежал, но мне это непрерывно рассказывали находившиеся в моей палате больные и служебный персонал. Я начал требовать, чтобы меня эвакуировали. Обратились в военный лазарет, но оказалось, что там уже эвакуировали всех раненых,

а меня, как лежащего отдельно в городской больнице, забыли⁶⁰. Положение мое становилось трагическим. Меня нужно отправить на вокзал, в трех верстах от города, но во всем Льгове невозможно найти лошади, а ходить я не могу. Больничный персонал старается обо мне, как только может. Есть лошадь в пожарной команде. "Она нам нужна", говорят мне и, тем не менее, посылают за ней человека привести ее для меня. Но по дороге какой-то военный насильно отнимает ее, несмотря на все протесты служащего, что она для раненого, и забирает ее себе. Опять неудача! А тут тревожные разговоры: "Сегодня до темноты красные будут в городе!". Как обычно, настроение лежащих со мною больных применяется к обстоятельствам. "Ну что ж", говорит один из них, "значит, снова Советы. Ничего, жили при них и опять поживем!" Или даже: "А как посмотреть, так вся эта война из за земли вышла. Белые земли не дадут". И все это с какой-то унылой покорностью, без всякого энтузиазма. В отдалении слышится артиллерийская стрельба, скоро умолкает. Я все более нервничаю, требую, чтобы меня эвакуировали, угрожаю, умоляю, почти плачу. "Понятно", комментируют больные, "никому не охота, чтобы тебя зарубили красные". Больничный персонал делает все что может, но откуда ему достать лошадь? Ставят человека у входа в больницу, чтобы тот останавливал проезжающие подводы, просил захватить лежащего в больнице раненого дроздовца, но долгое время безрезультатно. Все спешат, все заняты только собою. В горе моем опять взываю к Богу и снова приходит помощь. Внезапно появляется в моей палате дроздовец (не тот, как в первый раз при отступлении, но во многом похожий на него). Ему сказали, что я здесь лежу, у него лошадь и сани, предлагает довести меня до вокзала. В первую минуту просто не верю, что это так на самом деле, но, конечно, с радостью и благодарностью соглашаюсь. Прошу главного доктора дать мне теплое одеяло, а то я в моей одежде замерзну пока доеду. "Вы сами знаете", говорит доктор, "как мы бедны во всем,

60. Это не совпадает с рассказом полк. Туркула, который пишет, что когда красные ворвались во Льгов, в больнице было "до двух сотен наших" раненых (стр. 143). Не знаю, как объяснить такое разногласие. Может быть мне сказали неправду, что раненные уже эвакуированы? Но почему? Во всяком случае, я пишу то, что мне говорили и что я ясно помню.

но для Вас дадим, что можем". Действительно, дает мне несколько байковых одеял. Прошаюсь, все в палате желают мне счастливого пути. В отличие от моего первого дроздовца, сани у этого были с крестьянском возницей. Сажусь в них, закутываюсь в одеяла, погода мягкая, слегка тает, мне совсем не холодно, руки не болят. Уже ночь. Подъезжаем по пути к вокзалу к перекрестку дорог. Дроздовец, шедший рядом, останавливает сани, говорит нужно выяснить, где именно стоит санитарный поезд, тут несколько вокзалов. Он пойдет вперед один, выяснит, а меня просит подождать в санях с возницей пока он вернется. Уходит.

Остаюсь один и жду. Думаю о моем "спасителе" дроздовце, я с ним уже успел немного разговориться. Как и первому, ему уже за тридцать. Солдат германской войны, он давно в Добровольческой Армии, старший дроздовец, воевал уже на Кубани против красных. Поучает меня, что такое Добровольческая Армия и, вообще, относится покровительственно, как к молодому. Впрочем, он скоро понял, что я сам знаю, что такое Добровольческая Армия и за что она борется и перестает меня поучать. Он несомненный противник красных, я убежден, что и доблестный опытный воин, человек, всецело связавший свою судьбу с Белым Движением, он рассказывает, как в самом его начале принимал участие в организации Добровольческой Армии, но и в нем чувствуются признаки усталости и разложения. Отступает он не со своей частью, а в индивидуальном порядке, "драпает" по военному выражению, везет с собой запасы сахара и других ценных продуктов. "Поеду я на Кубань", говорит он, "хорошенько там отдохну, там у меня в станицах много друзей, пускай молодежь повоеют. А там к весне, посмотрю каково положение и может снова вернусь на фронт. До Кубани красным никогда не дойти". Дроздовец хорошо одет, на вид вполне здоров, но воевать ему надоело. Нужна передышка. А все же я ему глубоко благодарен. Проходит около часу, а мой дроздовец не возвращается. Я начинаю сильно беспокоиться, опасаясь, что для моих рук такое долгое пребывание на холоде будет вредным. Проходит еще полчаса, а дроздовца все нет. Я теряю терпение и спрашиваю возницу, знает ли он дорогу отвести меня на вокзал. Тот спрашивает, на какой? Отвечаю: на главный. Возница привозит меня туда, вызывает людей с вокзала, меня полунесут полуведут подруку. На вокзале меня помещают в большой станционном зале и кладут на стол. Рядом со мной лежат без сознания тифозные сол-

даты. Мне говорят, что санитарный поезд находится впереди на Льгове II (а мы на Льгове III) в ожидании раненых, но к утру прибудет и заберет меня. Лежу всю ночь среди тифозных. Я, было, освободился от насекомых в больнице, а тут они во множестве переползают ко мне от тифозных. Опять мрачные мысли: заболел тифом, а я так слаб, так исхудал, что не выдержу, умру. На вокзале группа беженцев: двое мужчин лет сорока, три женщины. Хорошо одеты, в шубах, каракулевые шапки. По лицам и по манере говорить и смеяться можно безошибочно сказать, что это дворяне-помещики. Но зачем все бегут и никто не сражается, думаю я. На меня смотрят с жалостью, но и с недоумением. У меня в моем тряпье, с руками в белых култышках, без фуражки, такой вид, что они не могут решить, кто я. Наконец, мужчина в каракулевой шапке подходит ко мне, спрашивает: "Скажите, пожалуйста, кто Вы? Военный? Раненый?" - "Да" отвечаю я, "дровдоец, отмороженный" - "Но как Вас так бросили? И как Вам не дали вовремя теплой одежды, обуви, чтобы Вы себя не отморозили?" - "Меня не бросили", отвечаю я, "это военные обстоятельства, отступление. А про одежду Вы правы. Я пошел добровольцем, сражался и готов сражаться, но без сапог, в таком виде, нет! Не по силам!" - "А у Вас есть родственники?" - "Да, в районе белых армий, но я не смог еще установить с ними связь. В этом трагичность моего положения. Моя фамилия - Кривошеин". Какое-то движение заметно на лице мужчины, но он, ничего не сказав, отходит. Помочь мне он сейчас не может, единственное, что мне сейчас нужно, это санитарный поезд, чтобы прибыл поскорее. Да у него свои заботы, о себе и о семье.

Наконец, после долгого ожидания, часам к одиннадцати - это было 2 ноября, подъезжает санитарный поезд. Двое санитаров ведут меня под руку, ковыляю на одной ноге. На платформе пожилой полковник с двумя юными кадетами, вероятно, сыновья, одному лет десять, другому двенадцать. Тоже беженцы. Увидев меня, полковник отдает мне честь. Лицо его выражает сострадание и уважение. Юные кадеты вытягиваются и тоже отдают честь. Тронут, тронут, но зачем было доводить меня до такого состояния? Впрочем, никто не виноват. Война! Нужно терпеть. В поезде меня помещают в последний вагон, все передние переполнены ранеными, а у нас еще свободные места. Санитар приносит хороший горячий обед и сам меня кормит, с моими забинтованными руками я не могу держать ни ложки ни вилки. Приходит старшая

сестра, справляется о моем состоянии. Рассказываю. "Как же Вы", говорит она, "студент, интеллигентный человек, могли допустить, чтобы у Вас отморозило обе руки? Это стыдно! Вы были должны их оттирать снегом". Я возмущен глупым замечанием: "При чем тут интеллигентность или не интеллигентность, когда у тебя нет ни перчаток ни теплой одежды ни сапог, а фуражку унесло ветром, а сверх того нужно тащить лошадь за уздцы? А что касается растирания снегом, то я это и сам знаю. Растирал так, что вся кожа с пальцев слезла, но так уж сильно были отморожены руки, что не помогло. Если бы не растирал, то совсем бы пропали!". Неожиданно появляется мой дроздовец: "А я тебя давно ищу. Куда ты пропал вчера? Я нашел санитаров с носилками, мы пришли за тобой еще вчера, отнесли бы тебя на санитарный поезд, куда ты делся?" — "Да я тебя ждал больше полутора часов, дольше не мог, стал мерзнуть, ну и поехал на вокзал" — "Ну вот и пролежал там целую ночь. А где мой сахар и другие вещи?" (А я о них совсем забыл, когда приехал вчера на вокзал с возницей. Только сейчас вспомнил! Да и не до них мне было и не мог я, без рук и ног, с ними возиться). "Остались в санях", отвечаю я. "Как так? Почему ты их оставил?" — "Забыл совершенно. Да ты не дал мне никаких указаний, что с ними делать". Дроздовец не верит, сердится, требует свои вещи. Тут и я рассердился: "Оставь ты меня в покое со своими вещами. Спрашивай их у возницы, у меня их нет. Ищи, если хочешь". Он и сам видит, что вещей в вагоне нет, спрашивает об этом санитаря. Уходит недовольный. Понятно, провалились его расчеты выгодно продать их в тылу. Но мне стало его жалко, да я отчасти и виноват в том, что случилось. Поезд должен отойти к вечеру, но уже в послеполуденные часы начинает чувствоваться тревога. Упорно распространяется слух, что поезд слишком длинный, паровоз не сможет взять подъема, последний вагон отцепят и бросят. Как бы то ни было, раненные, находившиеся в моем вагоне, они почти все легко раненные, постепенно один за другим перебираются в передние вагоны, и я остаюсь один вместе с санитаром в моем вагоне. Прошу, требую от санитаря, чтобы он и меня перевел в передние вагоны (сам идти не могу). Но он отговаривает, отказывается: "Да там все набито, негде лечь. Совершенно не беспокойтесь, все это выдумки, никто Вас не бросит". Но я не уверен. Почему же тогда убежали отсюда все другие? А санитар, кто его знает? Может быть он желает о-

статься у красных. Слышу другие тревожные рассказы. Машинист нашего поезда сбежал, нашли другого, рядом с ним на паровозе стал офицер с револьвером, чтобы и этот не убежал.

Часам к четырем дня слышится ружейная стрельба с северной стороны, за вокзалом. Еще не особенно близко. Сразу начинается поспешная эвакуация. На станции, как говорят, стоят восемнадцать поездных составов, наш предпоследний, за ним поезд генерала Витковского, командира Дроздовской дивизии. Один за другим, пыхтя паровозами, проходят мимо нас поезда, с промежутками в две-три минуты. Стрельба все приближается и учащается. Впечатление, что стреляют одни наступающие красные, сопротивления нет. Наш вагон как раз против вокзала, смотрю в окно. Теперь пули начинают сыпаться на вокзальные платформы. До этого там бегали и суетились люди, вскакивали на ходу в отходящие поезда, сейчас все опустело, ни души. Наконец, движется наш поезд, но сразу же останавливается. Слышно, как пыхтит паровоз, колеса буксуют на месте, не могут взять подъема. Потом набирает силы и снова безуспешно пробует двигаться. И так несколько раз подряд. А между тем стрельба все усиливается, пули градом сыпятся на перрон рядом с нами, но до вагона не достигают. Стемнело, пошел снег с дождем ⁶¹. Смотрю напряженно в окно и думаю: что, если отцепят наш вагон и бросят? В этот момент сильнейший толчок сзади: поезд генерала Витковского толкает нас и, благодаря толчку, паровоз берет подъем, и мы уезжаем, оставляя за собой красных, которые берут вокзал. Слышно было, так рассказывали, как красные кричали ура или, по другой версии, нели интернационал. Мы проехали

61. Может быть, это было начало метели, в которую попал полк. Туркул с его Первым Дроздовским полком и о которой он пишет. Всю следующую ночь, когда мы ехали в поезде, шел сильный снег.

за ночь тридцать верст, и через два дня наш санитарный поезд благополучно прибыл в Харьков ⁶².

62. Вот как описывают советские сообщения бои за Львов: "Красные ударные группы, прорвав фронт противника на 70 верст, нанесли огромный урон деникинским офицерским полкам. Конная Червоная казачья дивизия Примакова, пройдя с боем в 3 дня 158 верст, изрубила 800 деникинцев... Противник бежит в панике, оставляя телефонные и телеграфные аппараты" (От штаба 14-ой армии 27 октября/9 ноября). "Лучшие полки противника, дроздовские и самурский, так называемая белая гвардия, разгромлены благодаря смелому удару красной конницы Т. Примакова. Все полки противника, за исключением Первого Дроздовского, потеряли артиллерию и обозы. При занятии Львова нашей конницей захвачено 6 орудий, 12 пулеметов, 800 пленных, 3 тысячи снарядов, масса патронов, 8 паровозов и вагоны. Два бронепоезда противника отрезаны. Идет бой за захват их. Местами противник бежит, не оказывая сопротивления" (Телеграмма Орджоникидзе Ленину от 7/20 ноября). На самом деле, однако, Львов был вновь взят полк Туркулом 3 ноября, переходил из рук в руки, и "Червоные" потерпели тяжелые потери от Первого Дроздовского полка в боях в городе, у железнодорожного моста через Сейм и у вокзала (Туркул стр. 140-146). А о гибели наших бронепоездов (Иван Калита и двое других) мы услышали в санитарном поезде на следующий день по отъезде из Львова. Их пришлось уничтожить, так как их нельзя было вывести из за преждевременного взрыва нами самими моста через Сейм (Туркул стр. 144-146).

• Брасово

о Кривы



о Угрой

Коларши

• Вызезд

о Севск

• Дерюжино

• Михайловка

о Броводы Поповка

о Дмитрев

Фатежка Кукузовка

• Фатеж

Селино Берёза

Мякишиково

• Коньшевка

о Львов

о Зыльск

Курск

о Коранево

о Скалосты
ушково

Схема

Район действия Дроздовской дивизии в
сентябре-октябре 1919 года с обозначением
местностей, упоминаемых в мемуарах

Оглавление.

	стр.
Предисловие	1
Часть первая.	
К белни!	
Глава первая. В поисках выхода.	3
Глава вторая. На Юг!	8
Глава третья. В прифронтной полосе.	20
Глава четвертая. Арест.	29
Глава пятая. В красном плену.	40
Глава шестая. Снова на Юг!	70
Глава седьмая. Самый долгий день.	74
Глава восьмая. Свои!	86
Часть вторая.	
У Добровольцев.	
Глава первая. Последние дни наступления.	89
Глава вторая. На переломе.	97
Глава третья. Метель.	115
Глава четвертая. Льгов.	124
Схема	132